

★ Виктор КОСТЕВИЧ ★

Подвиг Севастополя 1942



ГОТЕНЛАНД

Война. Штрафбат. Они сражались за Родину

Виктор Костевич
**Подвиг Севастополя
1942. Готенланд**

«Яуза»

2015

Костевич В.

Подвиг Севастополя 1942. Готенланд / В. Костевич — «Яуза»,
2015 — (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину)

ГОТЕНЛАНД – так немецкие оккупанты переименовали Крым, объявив его «германским наследием» и собираясь включить в состав Рейха. Но для наших бойцов Крым и Севастополь испокон веков были не просто точками на карте, а гораздо большим – символом русской воинской славы, святыней, Родиной... Эта масштабная эпопея – первый роман о Севастопольской страде 1942 года, позволяющий увидеть Крымскую трагедию не только глазами наших солдат и моряков, стоявших здесь насмерть, но и с другой стороны фронта – через прицелы немецких стрелков и видоискатель итальянского военного корреспондента. Эта книга – о том, какую цену заплатили наши прадеды, чтобы Остров русской славы остался русским

© Костевич В., 2015

© Яуза, 2015

Содержание

Родина	6
Большая немецкая любовь	14
Возвращение	22
Весна	27
Скифская степь	34
Путешествие с Грубером. Борисфенские музы	40
Путешествие с Грубером. Сады и виноградники	48
Путешествие с Грубером. Киммерия	60
Город славы	74
Татарское вино	85
Первые радости	91
Испытание совести	100
Краски русского юга. Трусики на лампе	107
Тишина. Младший сержант Волошина	121
Тишина. Человек по имени Земскис	126
Конец ознакомительного фрагмента.	128

Виктор Костевич

Подвиг Севастополя 1942. Готенланд

В оформлении переплета использована иллюстрация художника И. Варавина

© Костевич В., 2015

© ООО «Издательство «Яуза», 2015

© ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

Родина

Старший стрелок Курт Цольнер. Род. 1920

5 апреля 1942 года, пасхальное воскресенье

Увы, на факультете было пусто. Антикварный, еще мирных времен вахтер, оторвавшись от «Народного обозревателя», сообщил, что днем раньше я бы непременно встретил тут девушек – из добровольной помощи ПВО. Но по случаю праздника всех распустили, рассудив, что сегодня британцы не прилетят.

– Обидно, – сказал я в ответ, имея в виду не британцев. Улыбнулся и вышел на воздух. Выйдя, печально вздохнул. Легко говорить – днем раньше. Поезда, перевозившие отпускников через Украину, застревали у каждого столба, пропуская эшелоны, спешившие на восток. А бывало, и составы, шедшие на запад – в первую очередь санитарные поезда. Шансов приехать раньше у старшего стрелка Курта Цольнера не было.

Домой я вернулся в сумерках. Сбросив шинель, прямо в одежде завалился на кровать и часа полтора пролежал, уставившись глазами в потолок. Тикали настенные часы в гостиной – мне не приходило прежде в голову, насколько приятным бывает их звук. Кто-то, похоже ребенок, неумело играл на плохо настроенном пианино – и звук фортепьяно мне тоже казался приятным. Я поймал себя на мысли, что готов так валяться днями. Засыпать, просыпаться и вновь засыпать. Под стук часов и неумелую игру на старом-престаром, безнадежно испорченном инструменте.

Тем не менее встать пришлось. Часы пробили восемь, и настала пора переодеться, поменять кожу, вылезти из шкуры цвета «серый полевой» и вновь обратиться в нормального человека – то, на что не хватило духу, когда я по приезде отправился в город, а почему не хватило, не знаю. Хотя ничего удивительного: в моем возрасте и без заметных глаз увечий неловко ходить по улицам без униформы.

Из потрескавшегося шкафа, купленного дедом Мартином еще до боксерского восстания в Китае, были извлечены почти неношенный костюм английской шерсти, отутюженная матерью сорочка, новый галстук. Встав перед зеркалом в этом странном, на мой нынешний взгляд, одеянии и сделав мысленное усилие, я рассудил, что выгляжу не так уж плохо. Манжеты сорочки были чуть длинноваты, но рукава моего кителя были нисколько не короче, так что к этому я привык.

Из расположенного под нашей квартирой жилища госпожи Нагель, где сейчас, будто бы к Пасхе, а по существу – в честь моего приезда, готовилось небольшое торжество и где несколько часов уже хлопотала на кухне мать, тянуло ароматным и вкусным. Зная, что за мной всё равно придут, я сел за письменный стол и попробовал занять себя книгами. Не удалось. Их названия были не менее странными, чем новая моя одежда. Не то чтобы это было само по себе ненужно и неинтересно – необычайным казалось то, что человеком, которому еще недавно это было интересно и нужно, был я, старший стрелок третьей роты такого-то пехотного полка такой-то пехотной дивизии германских вооруженных сил. Которому не раз мечталось – он сядет за этот вот стол, обложится словарями и начнет в тишине и покое рассматривать картины, медленно вникая в текст на итальянском и хорвато-сербском. Но оказалось, что, кроме тишины и покоя, ему ничего не требуется. «Так Homo sapiens превращается в Amoeba proteus», – сказал я себе, но и это меня не расстроило. Стало быть, превратился.

Я погасил лампу, откинул занавеску и попытался смотреть в окно. Однако улица не освещалась, окна были затемнены, и разглядеть там что-либо не представлялось возможным. Проехал автомобиль, проскочил велосипедист, кто-то кого-то негромко окликнул – и снова воцарилась тишина. Она была бы абсолютной, если бы не тиканье часов. Я заснул.

* * *

Меня разбудила Юльхен. Четыре месяца назад ей исполнилось пятнадцать, но выглядела она на два, если не на три года старше, пребывая в том счастливом возрасте, когда данное обстоятельство не расстраивает девушек, но наполняет их гордостью – в матерей же вселяет тревогу. Моя уже успела поделиться своими опасениями. «Понимаешь, Курт, столько солдат вокруг, столько отпускников», – сказала она за обедом и отвела глаза в сторону. Она всегда отличалась своеобразным чувством такта, предпочитая сначала высказаться, а уж потом изобразить некоторую, но отнюдь не чрезмерную неловкость.

С Юльхен мы не виделись года полтора, если не считать сегодняшнего утра, когда я постучался в дверь и они с матерью, выбежав навстречу, стали стаскивать с меня шинель и прочие предметы армейского обихода. Пока я переодевался, сестра унеслась «по своим делам», что и дало повод к обеспокоенному высказыванию матери. Теперь – словно я вернулся не из России, а из соседнего Роттенбурга – Юльхен сказала «Привет!», прошла глазами по моей фигуре и одобрительно заявила:

– Сойдет. Идем, нас ждут. Кстати, есть телеграмма от папочки. Всех поздравляет и обещает приехать на днях, если, конечно, опустят.

Отца командировали на артиллерийские заводы где-то в районе Дюссельдорфа, и шансов на то, что его опустят, было совсем немного. Командировка тянулась уже с полгода, он почти не писал, а в последнем письме сообщил, что работы невпроворот, особенно после того, как множество призванных в армию квалифицированных рабочих пришлось заменить иностранной рабочей силой, трудовые навыки которой оставляют желать лучшего.

Снова открылась входная дверь, и из прихожей выпорхнула нарядно одетая мать в туфлях на высоком каблуке. За полтора последних года она буквально помолодела, сделалась тоньше и легче. Наложённые войной ограничения явно пошли на пользу.

– Вы готовы? – спросила она, пройдясь по мне не менее критическим взором, чем Юльхен. Я кивнул, и мы спустились в жилище госпожи Нагель.

* * *

В гостиной нас дожидалось небольшое и хорошо известное нам общество.

Во главе стола монументально возвышалась фигура нашей домовладелицы. Она приходилась моей матери троюродной теткой, но, в отличие от нас, католиков, принадлежала к евангелической церкви – как почти все в этом городе, куда мы перебрались лет пятнадцать назад. Спустившись с гор, как шутя говорил мой отец. В свои шестьдесят пять госпожа Нагель отличалась отменным здоровьем, прекрасным аппетитом и склонностью к напиткам с низким, средним и высоким содержанием алкоголя. Несмотря на ежевечернее потребление как минимум четырех бутылок пива, данная склонность не переходила в хронический алкоголизм и единственным ее следствием было подавленное настроение по утрам.

Среди гостей была и младшая ее сестра – сравнительно недавно овдовевшая госпожа Кройцер, жившая на третьем этаже и бывшая чем-то вроде приживалки у преуспевшей на ниве жилищной аренды родственницы. Рядом с ней сидел ее пятидесятилетний, но весьма розовощекий и жизнерадостный ухажер, о появлении которого я узнал из матушкиного письма еще в России, немедленно позабыв об этой волнующей новости.

С другой стороны продолговатого стола расположились обитатели второго этажа: Гизела Хаупт – не совсем кинозвезда, но всё же довольно милая девушка двадцати двух лет, совсем не нордического, а скорей апеннинского типа, недавно потерявшая в Африке жениха, – и ее вечно печальная мать. Отец, военный чиновник, обретался ныне на севере Франции.

Возле них восседал дядя Юрген, непонятно по какому поводу нацепивший на себя мундир штурмовика. В нем он щеголял десяток лет назад, когда отдельные, не проникшиеся духом национальной революции граждане еще позволяли себе подтрунивать над подобной странностью вроде бы приличного человека. В их числе был и дядин старший брат, говоря иначе – мой отец, в ту пору придерживавшийся довольно левых взглядов, державший на книжной полке Карла Маркса и сыпавший цитатами из Гейне.

– Почему не в форме, солдат? – с ходу спросил меня дядя великолепным командным голосом, которому мог позавидовать фельдфебель Горский в нашем учебном полку. Я постарался быть вежливым.

– Еще надоест.

– А я, будь моя воля, никогда не снимал бы.

«Ну и дурак», – подумалось мне, хотя дядя был совсем не дурак. С этой нехитрой мыслью я уселся туда, куда указал приветливый, как обычно по вечерам, взгляд госпожи Нагель.

Чтобы оценить по достоинству стол, не нужно было ютиться в казармах, торчать в окопах и валяться по лазаретам. Я оценил и, не обращая внимания на завязавшийся разговор, приступил к трапезе, неторопливо занявшись двумя салатами и свиной отбивной с картофельным гарниром. Во взгляде матери мелькнуло умиление – вроде того, что вызывает у родителей вид подрастающих чад, поглощающих вкусную и здоровую пищу. Выпив красного вина, все заметно оживились.

– Две недели мечтал разговеться, – заметил дядя Юрген, выпивая вместе со всеми очередную порцию и прицеливаясь глазами в сторону печеной утки, удобно расположившейся на огромном блюде неподалеку от правого локтя Гизелы Хаупт. (Ее руки, открытые до середины плеча, отличались приятной полнотой.)

– Ты постился? – удивилась мать. – Может, ты еще и в церкви побывал?

Она забыла, что подобным буквоедством дядю было не смутить. Напротив – у него появился лишний повод продемонстрировать неординарность своего мышления.

– Пост – всего лишь верность предрассудкам, а вот разговение – дань уважения нашим народным традициям.

– Плодотворный подход. Но не для тех, кто хочет похудеть, – осушив бокал, качнула головой Гизель и повела глазами по сторонам. Лицо ее не отличавшейся стройностью матери сделалось еще печальнее. Госпожа Нагель, тоже не худышка, хмыкнула, влила в себя вино и, сунув ухажеру госпожи Кройцер бутылку мозельского, велела ее открыть.

Под звяканье ножей и вилок текла неспешная застольная беседа. Предмет ее был от меня далек, и я полагал, что оставлен в покое. Но ошибался, в какой-то момент дядя вновь принялся за свое. Идея униформы не давала ему покоя.

– Все-таки, Курт, ты должен показаться при параде! – решительно сказал мне он, и возразить на это было нечего. Разве для того берут людей на войну, чтобы в отпуске они разгуливали в штатском?

– И правда, Курт, покажись как-нибудь, – больше ради приличия поддержала дядюшку госпожа Нагель, обсасывая утиное крылышко.

– Будет сделано, – пообещал им я, – но если можно, не сегодня. К тому же моя форма совсем не парадная.

– Какая разница? Всякий мундир украшает мужчину, – высказался ухажер госпожи Кройцер и на всякий случай добавил: – Кроме, конечно, французских. Ваши полевые куртки, между прочим, будут красивее тех, что носили на нашей войне.

Прозвучало сильно – наша война. Мне представились меловые окопы Шампани, а в них дядя Юрген с гранатой в зубах. И ухажер госпожи Кройцер с саперной лопаткой за поясом, с которой стекает французская кровь. Правда, дядя в Шампани не был. Но кто знает, где послужил ухажер и чьи взрезал мундиры его смертоносный штык?

– Ну, это как поглядеть, мне так и наши нравились, – не согласился дядя. – Ты мне, Курт, лучше вот что скажи: когда ты получишь свой Железный крест?

Стало ясно, что от меня требуется не только униформа, а нечто гораздо большее. Дядю можно было простить, ведь, если судить по газетам, настоящие фронтовики с ног до головы увешаны наградами. И это не ложь репортеров, но естественная избирательность пишущих людей. Не строчить же про всех подряд.

– Как только совершу необходимые подвиги. Пока не успел.

– Но у тебя же есть какие-то награды?

Я понял, что он не отвяжется, и назвал свою инсигнию. Четко, почти по буквам, чтобы не оставалось вопросов.

– Черный знак за ранение.

– Скромный немецкий герой, – заключила фрау Нагель и, подняв бокал, призвала всех выпить за мое здоровье, а также за то, чтобы вдобавок к черному я не обзавелся серебряным знаком. Предложение было с готовностью поддержано всеми, не исключая Юльхен и Гизель, хорошевшей прямо на глазах. Я возражать не стал. Все-таки ранение – это больно и противно, даже если совсем легко. У меня было средней тяжести.

* * *

Разделавшись с отбивной, я немедленно взялся за утку, основательно потревоженную дядей, госпожой Нагель и ухажером госпожи Кройцер. Возможно, я уделял чрезмерное внимание мясу, но в конце концов имел на это право. Разговор опять ушел куда-то в сторону, и я мог есть, не отвлекаясь на ерунду. Гизель взяла надо мною шефство, периодически подкладывая мне что-нибудь в тарелку и заглядывая мне в глаза с блуждающей полупьяной улыбкой, делавшей ее лицо всё более и более привлекательным. Моя улыбка, подозреваю, давно была попросту пьяной. Закалкой фрау Нагель я не обладал.

Весело было всем, кроме разве что Юльхен. По причине малолетства она смогла получить лишь немного шампанского и теперь откровенно сучала.

– Из-за проклятой светомаскировки нельзя даже как следует отметить праздник, – заявила она, вклинившись в паузу между очередными сентенциями дяди Юргена. – Третий год обходимся без фейерверков. А в Констанце, говорят, светомаскировки нет.

Дядя не сплеховал и тут, дав точное объяснение феномену, вызвавшему зависть моей сестры.

– Это чтобы англичане думали, будто там еще Швейцария. И не бомбили. Им повезло. Правда, нас пока еще тоже не трогали.

Его слова вновь привлекли внимание ухажера госпожи Кройцер, который, блаженно щурясь после очередного глотка, заметил:

– Вот именно что пока. Начнут, тогда попляшем. А скоро за нас возьмутся еще и американцы.

– Верно! – поспешил согласиться с ним говорливый брат моего отца, обожавший внешнеполитические сюжеты. – Дяде Сэму надоело прохлаждаться на набитых золотом мешках, и он опять собирается наведаться в Европу.

– Утешает одно, – не упустил инициативы ухажер госпожи Кройцер, – он из тех, кто не торопится, пока не станет ясно, что к чему, а покамест перевес на нашей стороне. Но ведь что поражает: этот лживый народ, на протяжении столетий истреблявший благородных индейцев и строивший свое благополучие на страданиях целого мира, теперь намерен учить нас морали. Если задуматься...

Закончить мысль он не успел. Госпожа Нагель, встревоженная очередной попыткой перевести разговор на военную тему, строго заявила:

– Довольно о политике, мужчины. Мальчику скоро опять на Восток, а вы всё о войне да о войне.

– Но не влезть они тоже не могли, – воспользовался дядя заминкой собеседника, – ведь там евреи имеют не меньшее влияние, чем в России. Пёрл-Харбор для них – всего лишь удобный предлог. Мне вот лично не верится, что нашим косоглазым друзьям самим удалось вернуть столь блистательную операцию. Без клики Рузвельта там явно не обошлось.

– Ну, дядюшка, вы преувеличиваете, – сказал я как можно мягче.

– Курт, ты не знаешь евреев.

Возникла реальная опасность открытия еще одной темы, близкой сердцу дяде Юргена и его нового знакомого. Нависшую угрозу усугубила моя сестра. Она отвлеклась от начатого было разговора с Гизель и с интересом спросила:

– А в Японии есть евреи?

Неожиданный вопрос привел мать в негодование. Она уронила вилку.

– Сколько можно говорить о евреях? Просто безумие какое-то! Только и слышу: еврей-большевики, большевики-евреи. И ты туда же, Юльхен.

Женщины согласно закивали, но дядя Юрген был не их тех, кто сдается при первых выстрелах. Ему был свойствен интерес к истории цивилизаций, и он прочел когда-то, пусть и не до конца, нашумевшую книгу Освальда Шпенглера.

– Евреи есть везде, – авторитетно заметил он. – Просто в Японии они косоглазые и не выделяются из общей массы. К тому же там порядок и железные моральные устои. Самурайский кодекс бушидо. Никакой расхлябанности и серой плесени, что выплыла на поверхность у нас в Европе.

* * *

Уйти от войны не позволила и Гизель. Ее в большей степени интересовал романтический аспект.

– Ты ведь служил на Украине, Курт. – Она не стала говорить «воевал», и это мне понравилось. – Говорят, там много красивых девушек.

Чего только не услышишь порой от людей. У меня не было оснований сомневаться в достоинствах девушек Украины, но чем они принципиально отличаются от других и откуда об этом известно Гизель, я представить себе не мог. Но молчание могло быть истолковано превратно.

– Строго говоря, на Украине я пробыл недолго. Больше в Крыму, – начал было я, не зная толком, как продолжить. Помощь неожиданно оказал дядя Юрген.

– Я вам, Гизель, сам скажу, – заявил он, поблескивая глазками специалиста по женскому вопросу, в котором поднаторел более основательно, чем в историко-философских трудах. – Когда я мыкался там в восемнадцатом, у нас было две любимые девушки. Одну звали Махно, а другую Петлюра. И они были совсем не красивы.

– Про таких я не слышал, – заметил я, хотя читал лет пять назад о русской революции. – Нам было в Крыму не до девушек.

– Вот и я о том же. Что вы хотите, боевые части. Всё более или менее пристойное достается тыловым крысам.

Мать не выдержала вновь, и хорошо, что в этот раз в ее руке не оказалось вилки.

– Мужчины, как вам не стыдно? Гизель, Юлия, заткните уши, пока наш дядя не закроет рот.

Инициативу перехватила госпожа Нагель. Подняв бокал и слегка заикаясь (стало заметно, что spiritus vini оказал воздействие и на ее могучий организм), она торжественно провозгласила:

– Как замечательно все-таки, что мы смогли собраться здесь все вместе! Если бы еще приехал Фриц...

Дядя поспешил согласиться, но сразу же ловко свернул на любимый предмет:

– После войны мы будем собираться в имении нашего Курта в Готенланде. Ты слышал, мальчик, что обещал вам фюрер?

– В каком еще Готенланде? – сонно пробормотала Юлия (кажется, среди оживленной беседы ей удалось выпить несколько больше, чем положенный бокал шампанского; я даже догадываюсь, что подливала ей госпожа Кройцер, некогда баловавшая подобным образом меня). – Не хочу я ни на какой остров Готланд. Я солнышко люблю.

– Успокойся, Юльхен, так будет называться полуостров Крым на теплом, южном Черном море. Пока об этом мало кто знает, но название замечательное. Ведь там когда-то жили наши предки готы. Вам там об этом не сказали, Курт?

– Как-то нет. Возможно, в мое отсутствие, – ответил я. На формулировки вроде «наши предки готы» я не реагировал с двенадцати лет. Но в очередной раз изумился странным представлением дяди об источниках знаний у студентов философского факультета.

* * *

Часа через два, когда все основательно подогрелись, а чуть не уснувшую было Юлию в сопровождении матери торжественно отправили спать (похоже, на сей раз госпожа Кройцер была щедрой как никогда), мы разошлись по разным углам. Я оказался рядом с Гизель – в креслах у большой напольной лампы, красноватый свет которой лишь усиливал полумрак, придавая обстановке то, что принято называть атмосферой. Нашу беседу можно было отнести к ряду светских.

– Ты долго лежал в госпитале? – Честно говоря, я не заметил, когда мы перешли на «ты», но этонисколько меня не обескуражило.

– Месяца два.

– А что раньше? (Молодец, она не стала спрашивать о ранении, в отличие от глуповатой особы в берлинском поезде, битый час изводившей меня вопросами о том, куда мне угодило и что я при этом почувствовал.)

– Мотались туда-сюда. Рыли землю. Иногда стреляли.

– Это страшно? (Еще раз молодец. Особа из берлинского поезда интересовалась, убили я кого, насколько я в этом уверен и как выглядят мертвые русские.)

– Когда как. Иногда очень. Но в целом привыкаешь.

– Ты долго здесь пробудешь?

– Две недели. Потом поеду в Берлин, оттуда – в Россию.

– В свою часть?

– В свою.

– К товарищам?

– Угу.

Мы не знали, о чем говорить. Прежде едва знакомые, мы не имели общих воспоминаний, а дальнейшее углубление во фронтовую тему грозило вызвать ненужные мысли о погибшем Густаве (так звали ее жениха, сгоревшего в подбитом танке; «Как это ужасно! Бедный мальчик», – успела утром прокомментировать обстоятельства его гибели матушка). К счастью, после Крыма я стал достаточно смел, чтобы уверенно взять Гизель за руку и поднести украдкой к губам ее в меру тонкие пальцы. Она растроганно кивнула и как бы доверчиво улыбнулась. Нас не смутил даже внезапно нависший над нами дядя.

– Кстати, о служебном росте. Ты у нас теперь кто? Старший стрелок? Что дальше, когда? Унтерофицер, кандидат на офицерский чин?

Я определил свою верхнюю планку без лишних иллюзий:

– Максимум старший ефрейтор.

– Ефрейтор – мое любимое звание, – проговорила Гизель и ласково пожала мне руку, не смущаясь присутствием моего веселого родственника..

– Куда уж выше, – хохотнул дядя, после чего опять переместился в направлении стола, где госпожа Нагель, напевая что-то из Штрауса-сына, разливала по бокалам содержимое новой бутылки.

Лейтенант Густав Кранц, как и я, закончил гимназию имени братьев Гримм, но вместо университета подался в фаннен-юнкеры танкового полка, чтобы в положенный срок сделаться офицером. Гизель не сообщили подробностей его гибели и правильно сделали. В Крыму я не раз видел сожженные русские танки, а однажды – сгоревших русских танкистов. Зрелище было не из приятных. Они были совсем молодые, такие же, как мы, и их тоже кто-то ждал. Но сожалений не было, встреча с ними ничего хорошего не сулила.

* * *

Госпожа Нагель завела патефон. Настала пора, ради которой и устраивается бóльшая часть вечеринок. Я приподнялся с места, однако выплывший из полумрака дядя ловко похитил Гизель и увлек ее за собой – в полумрак. Пошатываясь, я последовал за ними, имея целью перехватить девушку моей мечты, пока на место дяди не заступит ухажер госпожи Кройцер. Тот уже стоял посредине комнаты и, нетвердо держась на ногах, целил глазами в ту, что по совети предназначалась мне. Ему не повезло – я без лишних церемоний завладел своею Гизель, едва лишь смолкла первая мелодия, чтоб больше не выпустить добычи из рук. Дядя поспешно переместился к моей разомлевшей и глупо улыбавшейся матушке, тогда как ухажеру госпожи Кройцер пришлось довольствоваться госпожою Хаупт, чья физиономия за вечер так и не сделалась менее постной, а фигура не стала тоньше. Поскольку он также отличался корпулентностью (было, кстати, непонятно, куда исчез объект его матримониальных планов), парочка вышла весьма представительная. Но нам было не до них, мы были заняты друг другом, что бы ни думали по этому поводу наши матери, двое мужчин и госпожа Нагель.

– Ты придешь послезавтра? – прошептала Гизель, обвивая мне шею руками и прикасаясь щекою к моей.

– Почему послезавтра? – спросил я, крепче сжимая объятия и осязая всё, что позволяет почувствовать медленный комнатный танец. Грудь девушки оказалась больше, чем думалось, и это наполнило душу трепетом.

– Мама с утра на службе, а я буду дома. Поговорим. Нам ведь есть о чем поговорить?

– Полагаю, что есть. – И ощутивши новый прилив храбрости, я медленно провел рукой ей по спине, не обращая внимания на глядевшую в нашу сторону госпожу Нагель. – Тебя ведь интересует искусство средневековой Далмации?

– Это где?

– На теплом Адриатическом море, которое гораздо теплее Черного. С одной стороны Италия, с другой Далмация. Там живут хорваты и сербы.

– Сербы – нация убийц, – улыбнулась она. – Расскажи мне лучше про искусство Италии. У тебя ведь имеются книжки с картинками? Я обожаю Ренессанс.

– У меня есть сотня прекрасных книжек с чудеснейшими картинками. В том числе и про Ренессанс.

– Значит, до послезавтра?

Мы распрощались лишь за полночь. Легкое сожаление, что придется терять целый день, когда всё лучшее столь близко и доступно, не покидало меня в постели еще добрую четверть

часа. А потом я уснул. Уверенный, что мне приснится Гизель. Но вместо Гизель мне приснилась Клара.

Большая немецкая любовь

Курт Цольнер

6 апреля 1942 года, пасхальный понедельник – 19 апреля, суббота

Из четырнадцати дней отпуска уже миновало два. Вернее, прошел всего один, но на следующий мне ничего не светило. И это повергало в уныние.

Несмотря на церковный календарь, праздники кончились. Мать еще до обеда ушла на службу, Юльхен уселась за уроки. («У меня завтра латынь. Представляешь? Этим ретрографам даже мировая война не указ».) Я отправился слоняться по улицам. Штатское надеть постеснялся. Несмотря на патрули.

Мой путь оказался извилист. Сначала я прошелся до ратуши, потом свернул в переулки, по привычке побрел к университету. Спohватившись на полдороге, решил подняться на холм, где стояли клиники Медицинской академии. Оттуда открывался отличный вид на город.

Тут, на одной из площадок, разделявших марши уходившей в гору лестницы, я и встретил Клавдию – небольшое толстенькое существо, отсутствовавшее в моем сознании на протяжении времени, проведенного в армии, да и ранее почти не занимавшее в нем места. В гимназические годы я знал ее благодаря нашим общим знакомым. Затем, подобно мне, она оказалась в университете. Не отличаясь внешней красотой, выбрала практически закрытый для женщин путь филолога-классика, войдя в число тех, кого Юльхен поутру обозвала ретрографами. Теперь же я рад был и Клавдии, а ее озарившиеся счастливой улыбкой серые глазки показались мне милыми, умными и уж во всяком случае не пустыми. (Именно этим словом моя мамочка спешила заклеить глаза всякой особы, способной вызывать у мужчин интерес.) Я крепко сжал протянутую руку и в странном, неведь откуда взявшемся волнении выдохнул:

– Где ты теперь? Учишься?

Она смущенно улыбнулась и ткнула пальцем в светло-серое санитарное платье, угодив в неясно прорисованный бугорок, намекавший на место для бюста. Я закивал, по-прежнему не выпуская маленькой ладошки из рук. Пару раз растерянно мотнул головой.

– Ты знаешь, где Клара? – спросила она.

Это было то самое, о чем я хотел узнать вчерашним утром, но о чем совершенно забыл вчерашним вечером. Не случайно Клара, словно спohватившись, напомнила о себе, заявившись в мой сон. Теперь вот выслала навстречу Клавдию.

– Где? – спросил я, попытавшись изобразить интонацией радость – «изобразить» не потому, что радости не было, а потому, что и сам не знал, что со мной происходило.

– В нашем госпитале. В клиниках. Мы работаем рядом, в одну и ту же смену. Я уже освободилась, а она еще нет, там какая-то операция. Так что иди, она тебя хочет видеть. Valde, valde!

«Какая же ты милая и глупая идиотка», – подумал я и ответил:

– Gratias tibi ago, cara mea Claudia.

Для начальных классов вышло совсем не плохо, хотя в гимназии я ухитрился вести и более содержательные диалоги – теперь не верилось, что подобное было возможно.

Я хотел приобнять ее на прощанье, но она сама проворно схватила меня за плечи, встала на цыпочки и ловко чмокнула в губы. Подобной прыти я не ожидал. Похоже, что война и ей пошла на пользу. Довольная и раскрасневшаяся, она махнула на прощание рукой и стремительно унеслась, вероятно вспомнив, что я предназначен для Клары. Так мне стало известно, зачем еще нужны солдаты. Они последний шанс дурнушек.

В госпитале я пробыл недолго. Задержавшая Клару операция кончилась, и мне осталось подождать, когда она выйдет из душа. (Вспомнились наши санитары, нередко засыпавшие, не

смыв чужой крови с рук – на это не хватало ни времени, ни сил, да и с водой у нас бывало трудно.) Я поделился сигаретами с выздоравливающими, игравшими в скат во дворе под навесом. Перекинулся парой слов о том, кого из них где и как. Выслушал анекдот про Сталина, Черчилля и Рузвельта. Потом появилась она, ткнула лицом мне в плечо и заплакала, будто мы были по меньшей мере невестой и женихом. У меня запершило в горле, еще сильнее, чем тогда, когда я наткнулся на Клавдию.

– Пойдем ко мне? – спросила она, и мы направились к воротам, сопровождаемые завистливыми взглядами моих недолгих знакомцев. Один из них, в наброшенном на плечи кителе с унтерофицерскими погонами (тяжело раненный прошлым летом под Бобруйском, он был старожилом госпиталя), решительно выбросил в диагональном направлении согнутую руку со сжатым кулаком, вероятно давая понять, как я должен действовать со славной худенькой санитаркой – одной из тех, с кого они не сводили неделями жадных тоскующих глаз.

Было бы любопытно узнать, какие подвиги припишет мне к вечеру их распаленное воображение. Фантазия выздоравливающих и хорошо накормленных бойцов не знает границ, и вряд ли разговоры здешних пациентов заметно отличались от тех, что велись в недавней моей палате. Да и теперь, пока мы спускались с холма и шли к трехэтажному дому, где проживало семейство Клары, я раз пять успел представить ее в самых волнующих позах, какие может принять девушка – пусть и отличавшаяся по комплекции и темпераменту от Гизелы Хаупт, но любящая меня давно и нежно.

– Ты будешь чай или кофе? – спросила она, когда мы переступили порог. – У нас есть хороший голландский.

– Лучше кофе. Тебе помочь? – спросил я в ответ, рассудив, что мое участие ускорит процесс.

– Не стоит, посиди в комнате.

Комнат было две. Решив, что, если бы Клара имела в виду гостиную, она бы так и сказала: «в гостиной», – я сразу же направился в ее небольшую спальню, очень похожую на мою комнатенку: неширокая кровать, письменный стол, полка с книгами, шкаф. Сначала присел на стул, потом перебрался на койку, усевшись поверх покрывал и спиной прислонившись к стене.

Дождаться пришлось недолго. Не обнаружив меня в гостиной, она принесла поднос с чашками, хлебом и сыром в спальню. Улыбнувшись, поставила рядом со мной на кровать. Скинула домашние туфли, с ногами залезла на то, что я мысленно успел окрестить «ложем страсти», и положила мне голову на плечо. Я коснулся губами ее светлых волос, не таких густых, как у Гизель, но соответствовавших по цвету самым строгим расовым стандартам – редкое явление в наших краях. Глядя пальцами тонкую руку, подумал: «Выпью чашку, и вперед». Времени до прихода Клариной матери оставалось не так уж много.

– Знаешь, что у меня есть? – спросила она.

– Откуда мне знать? – ответил я, хотя был уверен, что знаю и остается лишь увидеть, как там всё выглядит на самом деле.

Она спрыгнула с кровати и сняла с полки книгу большого формата. Сунув ее мне в руки, сказала:

– Смотри. Мамина любимая.

На обложке значилось «Африканский корпус».

– Ты это купила?

– Дали как приз за меткую стрельбу.

Я сглотнул, внезапно осознав, что случайно встреченная поутру Клавдия спасла меня от подлости по отношению к покойному Густаву Кранцу. Сунул в рот хлеб с сыром и отпил немного кофе. Прожевав, сказал:

– Знаешь, я вчера обнаружил, что не люблю книг. Особенно про войну.

Она стала серьезной, даже слишком.

– Ты знаешь, я тоже. Маме нравится – красивые мальчики, в шортиках, загорелые, а я даже не знаю, как ей объяснить. Смотришь на эти фотографии, а потом видишь их в госпитале, обгоревших, изуродованных...

– Сюда привозят из Африки?

– Нет, в основном из России. Но какая разница?

Лицо ее сделалось угрожающе печальным. «Сейчас разрешится», – встревожился я. Затягивать было нельзя. Осыпав милое личико поцелуями, я соскочил с кровати и переставил поднос на стол. Сбросил китель, расстегнул ей пуговицы на платье, расцеловал хрупкие – на самом деле хрупкие – плечи. Освободил от бюстгалтера. Она не сопротивлялась, только прикрыла глаза и молчала, будто это происходило не с ней, а с героиней русского романа. Я снова вскочил, скинул с плеч подтяжки, стащил через голову серую рубашку и, прыгая то на одной, то на другой ноге, освободился от сапог. Оставались брюки, носки и трусы – благодаренье Богу, не кальсоны. Неловко перебирая пальцами – куда подевалась шнуровка, приобретенная при подъемах и отбоях в учебном подразделении? – я стал расстегивать ширинку. Клара, широко открыв глаза, с интересом наблюдала за моими манипуляциями. Мне сделалось неловко, но останавливаться было нельзя. Порыв, я бы даже сказал *élan révolutionnaire*, смелость, смелость и еще раз смелость решали в нашем деле всё. Но безмолвное, в полный рост расстегивание штанов, возможно и подобающее мексиканскому *macho*, было мало уместным в присутствии скромной и хорошо воспитанной девушки, сидевшей на кровати в приспущенном до пояса платье.

– Клерхен, родная, – пробормотал я, опускаясь перед ней на колени в неосознанном стремлении сделать заключительные стадии своего раздевания как можно менее заметными.

– Хороший мой, – благодарно прошептала она. После чего добавила: – Только знаешь, сегодня ничего не получится.

У меня всё упало. Почти. Я вскинул голову и заглянул ей в глаза. Так, наверное, смотрят собаки, которых ни за что ни про что вдруг обидел любимый хозяин.

– Почему, Клерхен?

– Бывают такие дни, Курт. Вчера началось. Как назло. Ну, ты понимаешь.

– Понимаю, – прошептал я и уткнулся лицом ей в колени. «Что же за нелепое устройство... Интересно, сколько дней у нее продолжается... Отпуск...» – таковы были мысли, мелькавшие в моем сознании, и поэтому я молчал, а она нежно гладила меня по волосам и тоже молчала.

Я познакомился с ней в университете, в группе французского языка. Завязавшаяся к Новому году дружба переросла к дню рождения фюрера в светлое чувство, столь же светлое, как волосы Клары и само ее милое имя. В конце лета мы полагали, что любим друг друга, к концу следующего были в том совершенно уверены. Однако из всего, что могло между нами случиться, имел место лишь выезд в горы, где мы устроили небольшой пикничок с пирожками, бургундским и ласками в наивно французском стиле. Она отважно проделала тогда самое, по ее мнению, безопасное – проявив при этом трогательное бесстыдство, но в целом действуя неумело и слишком быстро устав, так что я при случае затруднился бы ответить, было у нас нечто серьезное или нет. Осенью меня призвали на службу. В первом же увольнении я понял, в чем заключалась ошибка Клары, но дать ей совет возможности не имел. А вскоре нас перебросили в Румынию, на границу с Россией.

У меня оставалась надежда, что Клара попробует воспользоваться дополнительными женскими средствами, теми самыми, что пыталась применить в тот единственный раз. Но она застегнула платье и виновато сообщила:

– Скоро мама придет.

Я вздохнул. Спорить было бесполезно. Мы еще раз сварили кофе, доели бутерброды, поговорили о пустяках и распрощались.

– Потерпи немножко, – сказала она, обнимая меня у дверей. Я обещал потерпеть.

* * *

Дома меня встретила Юльхен. Прямо в прихожей, с улыбкой на лице.

– Возвращение блудного брата. Часть вторая. Одиссей. Тебя тут Пенелопа потеряла.

– Какая еще Пенелопа? – слегка удивился я. Клара не могла появиться здесь раньше меня, а телефона не было ни у нее, ни у нас.

– Пенелопа зовется Гизелой Хаупт. Спрашивала про некоего Курта Цольнера. Куда, говорит, запропастился. Может, обиделся?

– На что?

– Ты уж прости, я в ваши секреты не посвящена.

– И чего она хотела?

– Срочно ждет тебя в гости. Желательно до восьми. Я тоже попросилась, но мне велели учить латынь. Она такая же ретроградка, как все.

С этими словами Юльхен показала язык и вернулась к письменному столу. А я, прихватив пару итальянских альбомов (Юльхен издевательски качнула головой), пошел на третий этаж, к Гизель. Оказалось, ее мать срочно вызвали на дежурство, которое должно было продолжиться до десяти.

С ней получилось легко и просто. Само собой. Естественно и без лишних слов. Даже не верилось, что тут могло выйти так, как сегодня с Klarой. То есть, конечно, чисто физиологически могло быть что угодно, но вот практически... Есть девушки, с которыми всегда всё выходит легче, и они ничем не хуже тех, с кем бывает наоборот. Даже лучше. Мой товарищ по николаевскому госпиталю, тоже студент, богослов, обсуждая степень женской покладистости, предложил собственную классификацию. Бывают девушки в железных трусах, бывают в трусах-самоспадах, бывают и без трусов. Я затруднился бы отнести Klarу к одной из перечисленных категорий, между тем как Гизель тянула на самоспады. По крайней мере, со мной. Жалко, времени оставалось слишком мало, нужно было замести следы, но и того, что мы успели сделать, на первый раз вполне хватило. Потом пришла ее мать, как ни странно – более веселая и приветливая, чем накануне, мы пили настоящий чай и в течение получаса вели оживленную беседу. Предметом обсуждения был предстоящий брак госпожи Кройцер.

* * *

Спустя четыре дня – их описывать нет нужды, достаточно сказать, что я был счастлив, и счастлив был не только я, – так вот, спустя четыре дня, а может быть, и пять, меня вновь отыскала Клавдия, причем элемент случайности в данном случае отсутствовал напрочь. Она заявила прямо ко мне, вечером, около восьми, даже, пожалуй, позже. Я как раз возвратился от Гизель, успев убраться до прихода ее матери, – и сразу же, едва открыл входную дверь, наткнулся на будущую специалистку по классическим языкам, которая, сидя на кухне – а дверь нашей кухни выходила в прихожую и почти соприкасалась со входной, – объясняла Юльхен аблятивный оборот. Кажется, на примерах из «Записок о Галльской войне», точно сказать не берусь. Усилия Клавдии были напрасны, как и старания педагогов, что на протяжении последних лет пытались выполнить аналогичную задачу в женской гимназии, а ныне обершколе имени Фридриха Гёльдерлина. (Получая очередную неудовлетворительную оценку, моя сестра с раздражением сообщала, что классические языки отменены как ненужный девочкам предмет, Гёльдерлин сошел с ума – и вообще куда смотрит партия? Отец, однако, был непреклонен – и заставлял ее посещать факультативные занятия.)

Насильственно погруженная в комментарии Божественного Юлия, Юльхен воздержалась от комментариев по поводу моего прихода. Клавдия подобного такта не проявила.

– Откуда ты без пальто? Я бы не сказала, что на улице жарко.

Пришлось объяснять, что я спустился к госпоже Нагель с целью принять там душ. Последнее вполне могло быть правдой – горячая вода не поступала к нам в квартиру даже по субботам и воскресеньям, то есть в те дни, когда немецкий народ имел законное право воспользоваться ванной. Клавдия скептически взглянула на мои сухие волосы и на мои пустые руки, после чего объявила: меня желает видеть Клара, более того, дело даже не в том, чего она желает, а в том, что она больна, и если не смертельно, то весьма тяжело. Меня призвали к исполнению долга.

Все было правдой – Клара свалилась с жестокой простудой. Еще вчера она была здорова, причем здорова совершенно, во всех, так сказать, отношениях, и будучи абсолютно здоровой, рассчитывала на встречу со мной – не зная только, приду ли я, проведя необходимые исчисления, сам, или же придется пускаться на поиски. Но с утра она почувствовала себя так скверно, что едва доплелась до госпиталя. Теперь, лежа в постели и получая видимое удовольствие от прикосновения моей ладони, покоившейся на ее и в самом деле горячем лбу, она испытывала неловкость.

– Глупо, правда? Такое невезение. Ты не сердисься?

Конечно же, я не сердился. За что? Склонившись над ней, я поцеловал ее в щеку, такую же горячую, как лоб.

– Бывает и хуже. Главное, выздоравливай.

– Ты вернешься и тогда...

– Конечно, солнышко.

В тот момент мне действительно показалось, что я непременно вернусь.

* * *

Бедная моя Клара, тоненькая, воздушная, похожая на девочку из предвыпускного класса школы средней ступени... Она не обладала достоинствами Гизель, теми самыми, что влекут молодых самцов, и была словно создана для декадентствующих поэтов, а коль скоро такие повывелись – для пожилых господ, чье либидо парадоксальным образом сочетается с потребностью проявлять к своей партнерше отеческие чувства. Я же по складу был бескрылый и в общем-то юный прозаик. К тому же историк, пусть и искусствовед, иными словами – патологический циник, бесчувственная скотина, ценящая в женщине не душу, а формы и, что существенно, бесконфликтность. Бесконфликтность – это когда без истерик и взаимных претензий. Одна очаровательная бельгийка объясняла мне так: «Я это я, а ты это ты, мы встретились, и это прекрасно, разойдемся – встретим кого-то еще. Надо уметь быть благодарным за то, что есть, а не злобствовать из-за того, чего нет».

Гизель умела быть благодарной, но без истерики у нас не обошлось. Однажды она разревелась в самый неподходящий момент. «В чем дело?» – спрашивал я в недоумении и долго не мог ничего добиться. Наконец она заявила:

– Ты считаешь меня шлюхой!

– Я? С какой стати?

– А разве нет? Думаешь, не успела жениха похоронить, сразу же спуталась с первым встречным...

Я долго молчал, «первый встречный» меня обидел. Собравшись с мыслями, я спросил:

– Ты дура?

– Сам дурак, – шмыгнула она носом.

– Ты редкостная дура, поняла? Если тебе нравится считать себя шлюхой, считай себе на здоровье. Я же останусь при своем мнении.

– Каком еще своем?

– Я тебя люблю. Если ты до сих пор не поняла этого...

– Вы всех нас считаете шлюхами.

– Плевать я хотел на всех. Я это я, а ты это ты.

Я и не заметил, как процитировал бельгийку, говорившую совсем о другом. Но Гизель об этом не знала.

– Кстати, как там мой друг поживает? – без всякого перехода и как ни в чем не бывало поинтересовалась она. По-хорошему, мне бы следовало уйти, но ее друг... Не всегда удается проявить надлежащую гордость.

* * *

Отец приехал перед самым моим отъездом, можно сказать – к прощальному ужину. Он тоже изменился, но, в отличие от матери, не в лучшую сторону, выглядел измотанным и опустошенным. За столом рассказывал о заводе и непроходимой тупости русских рабочих. Его возмущение было неподдельным.

– Это просто звери какие-то. Я не могу понять, как им удалось осуществить с подобными кадрами их хваленую индустриализацию, построить заводы и гидроэлектростанции. Ты представляешь, дорогая, – раньше он никогда не употреблял подобных слов, – по документам они числятся квалифицированными специалистами, а их приходится обучать простейшим операциям. Полный идиотизм. Теперь я понимаю, что русский социализм не более чем блеф. Такой же, как их непобедимая Красная Армия. Их Сталин опять всех надул.

– Может, это саботаж? – предположила мать. Я промолчал, а отец не ответил. Когда мы перешли к десерту, он попытался поговорить со мной о России, однако разговора не вышло, слишком далеки были его вопросы от того, с чем мне приходилось иметь дело на практике. Затем, расспросив Юльхен о школьных успехах и пожурив за пренебрежение классическими языками, отец высказал новую идею, а именно – не взять ли нам восточную работницу в качестве прислуги. Как инженер, работающий на оборону, он может на это претендовать. Я уткнулся глазами в тарелку. Созрел, стало быть. А ведь в свое время постеснялся участвовать в ариизации. Впрочем, там речь шла о людях, внешне, да и внутренне таких же, как мы, – ходивших в те же школы, говоривших на том же языке, читавших те же книги, потреблявших те же продукты питания. Матери идея тоже не понравилась. Во всяком случае, она насторожилась.

– Это еще зачем?

– Тебе облегчение и вообще, – ответил отец, несколько смущенно, понимая, куда та клонит. Мать в ответ пожала плечами, видимо рассудив, что отец всё равно пропадает на заводах и работница с Востока не представит серьезной угрозы семейному благополучию.

– Надо подумать.

* * *

Ближе к ночи, когда я готовился лечь в кровать, отец вошел ко мне в комнату. Неловко присел на стул у окна. Было видно, ему хочется общаться с сыном, более того, он видит в этом свой долг, и тот факт, что общения не выходит, не на шутку его расстраивает.

– Ты стал совсем другим, возмужал...

Прозвучало по-книжному, но вряд ли стоило винить отца. Ему трудно давались подходящие слова. Вопрос еще, каково бы было мне на его месте. Я улыбнулся, и это его ободрило.

– Значит, ты в Крыму. Говорят, там красиво.

– У нас тоже красиво, папа. Наши горы ничем не хуже крымских, даже лучше.

Похоже, и у меня было туго со словами. Я словно бы готовился к работе в туристическом агентстве. Хотя кто знает, чем придется заняться после войны.

– А там еще море и степь, – сказал он почти мечтательно. – Я был однажды в венгерской пуште. Вас хорошо там кормят?

– Нормально.

– Да. Нас тоже неплохо кормили в восемнадцатом, когда мы стояли на Украине. Лучше, чем в Германии и на Западном фронте.

Его нынешняя неловкость в общении со мной проистекала главным образом из обстоятельства, что во время той войны отец и дядя Юрген попали в действующую армию лишь по заключении Брестского мира с Советами – и им довелось поучаствовать лишь в оккупации Украины. При штабе и в каком-то благополучном месте, где их не тревожил ни Махно, ни большевики и вообще никто. Впоследствии данное обстоятельство не мешало его брату изображать бывшего вояку, а вот у отца с его привычкой к рефлексии как-то не получалось.

– У вас в подразделении есть партийные товарищи? – спросил он неожиданно. – Как складываются твои отношения с ними?

Я удивленно посмотрел на него. Он не смутился, скорее просто не заметил моего взгляда.

– Не надумал еще вступить в партию?

Я неуверенно усмехнулся.

– Шуточки у тебя сегодня.

– Я не шучу, – ответил он, и стало ясно, что он говорит серьезно. – Я собираюсь вступить. Вот и захотел узнать, как у тебя с этим.

– Понятно, – сказал я.

– Боюсь, не совсем.

Голос отца сделался жестче, слова теперь находились легко. Похоже, они давно были найдены – для меня или для кого-то другого. Его формулировки были не менее отточены, чем рассуждения бельгийки об отношениях полов.

– Пойми меня, Курт, я многое вижу теперь в ином свете. Я во многом заблуждался, пребывая в оковах традиционализма. Стереотипы, устаревшие представления, миф об интеллектуальной свободе. Но что важнее, в конце концов, моя прихоть читать те или иные книжки и ругать правительство – или благо народа в целом?

Я промолчал, вспоминая, как он морщился, слыша по радио о битве за урожай в Восточной Пруссии.

– Эта система, пусть она неидеальна, но ведь идеальных систем не существует, доказала эффективность и жизнеспособность. За шесть лет был вдвое увеличен валовой национальный продукт...

Я не ответил, предположив, что сейчас он скажет про ликвидацию безработицы, замечательные автострады, социальный мир, «Силу через радость», успехи во внешней политике. Так и вышло, после чего последовало высказывание о мощи наших вооруженных сил.

– Таких военных успехов не знала история. Ты солдат и можешь их видеть своими глазами. Я завидую тебе, поверь. Защищать отечество от восточного варварства, западной лжи...

Я ничего не сказал. Он вздохнул и виновато на меня поглядел.

– Возможно, я неправильно воспитал тебя в свое время, возможно, оказал нездоровое влияние, и теперь оно мешает тебе ощутить себя не только индивидом, но и частью национального сообщества. Прости меня, мой мальчик.

Мне стало его жалко. Жальче, чем Клару, Гизель, Клавдию, Густава Кранца.

– Всё нормально, папа, – ответил я. – Я часть, и еще какая. А если мне заменят винтовку на пистолет-пулемет...

Он снова печально вздохнул, попрощался и вышел. А я лег спать и, что поразительно, сразу уснул. Спасибо Гизель, после нее мне всегда хорошо спалось – несмотря ни на что.

* * *

На следующий день, а это была суббота, причем госпожа Хаупт уехала навестить дальних родственников в Роттенбурге и мы не были ограничены промежутком между шестью и десятью, состоялось последнее наше свидание. Как и прежде, всё было прекрасно. Почти ничего лишнего, за исключением того, что Гизель спросила о том, о чем я совсем не хотел говорить.

– Ты убил кого-нибудь?

– Не знаю.

Я соврал. Когда на протяжении недель приходится бросаться вперед, отбиваться, стрелять из винтовки, изводить десятки патронов, а потом идти мимо горящей техники, перешагивая через трупы, можно быть уверенным, что кого-то из тех, кто валяется тут, в измятой и жухлой траве, застрелил не кто-нибудь, а ты. Хотя, черт его знает... Но был случай абсолютно точный, однако и тогда я оказался не один.

– Правда не знаешь? – Она заглянула мне прямо в глаза.

– А что бы ты предпочла? – ответил я, возможно излишне резко.

Она промолчала. Я прижал ее к груди.

– Давай не будем об этом, ладно?

– Хорошо, давай не будем.

Вечером у госпожи Нагель состоялся прощальный ужин. На сей раз в сборе были все: и госпожа Кройцер, и ее ухажер, и всё наше семейство, и дядя Юрген, и Гизель, и ее вернувшаяся из Роттенбурга мать. Торжество было умеренным, но милым.

* * *

Утром я шагал на вокзал. Я совсем не стремился туда, куда мне предстояло вернуться, но такова была судьба миллионов моих соотечественников – и выбора у меня не было.

Возвращение Старший стрелок Курт Цольнер

Вторая половина апреля 1942 года

Два дня спустя я ехал через Польшу, причем с относительными удобствами – на нижней полке и недалеко от печки. Время было весеннее, и последнее обстоятельство имело значение. Поездка протекала обычным порядком. Беспкойный сон ночью, ничегонеделание и пустые разговоры днем. С кем поболтать – было. Еще в Берлине я встретил Хайнца Дидье, отправленного в отпуск вместе со мной и теперь возвращавшегося из Кобленца. В отличие от меня, вюртембержца, он был рейнландцем, или, по-нынешнему, мозельцем, что же касается необычной фамилии, то так оно и было – тем, кто интересовался, Хайнц говорил о старинном гугенотском семействе и рассказывал про Нантский эдикт.

* * *

Поезд шел быстрее, чем хотелось. За окошком тянулась равнина, сначала плоская, потом всё более неровная. Мелькали деревеньки, беднее с каждой новой сотней километров, пробегали рядки пирамидальных тополей. Некоторые селения и станции сохраняли разрушения, напоминавшие о сентябрьской кампании, но в целом были более-менее залатанными и приведенными в рабочее или пригодное для жилья состояние.

Долгих стоянок почти не случалось, только раз у нас хватило времени, чтобы сбегать на маленький рынок неподалеку от станции и потолкаться среди местных жителей, одетых во что попало, польских полицейских в синих пальто и наших серошинельных солдат.

Большинство увиденных мною на этом торжище лиц, порой со следами недоедания, а порою – сытого самодовольства, оставляло не самое благоприятное впечатление. Обращенные к нам взгляды могли быть угодливыми или дерзкими, но всегда нехорошими и неискренними. Однако, так или иначе, все занимались своими делами, и вскоре нам удалось обменять банку кофе из Голландии – вроде того, каким поила меня Клерхен, – на деревенское сало и пару бутылок «бимбера», самодельной польской водки. Трансакцией остались довольны обе стороны – я с моим спутником по имени Клаус, хозяином банки (свою долю я возместил ему деньгами), и польская дама средних лет в слегка облезлой шубке и со смущенной улыбкой на лице, основательно тронутым жизненным опытом.

Обменом с нею дело не ограничилось. Не успели мы засунуть добычу в сухарные сумки, как перед нами, вынырнув из гомонящей толпы, появился шустрый молодой полячок – из категории личностей с дерзкими взорами. На чистом почти немецком, выдававшем в нем позавчерашнего гимназиста, он решительно заявил: «Приветствую доблестную германскую армию», – после чего стал делать странные жесты, намекая то ли на гранату, то ли на патроны, которые он надеялся получить в обмен на нечто крайне вкусное в рюкзаке. Сделка не состоялась, поскольку Клаус глянул на шустрика так, что тот моментально исчез – с легкостью, выдававшей солидный опыт рискованных операций.

– Этот свое найдет, – пробурчал Клаус, послуживший в свое время в генерал-губернаторстве и знакомый с нравами местного черного рынка.

– Зачем ему? – спросил я.

– Какой-нибудь уголовный тип или, хуже того, бандит из подполья.

– Больше похоже на второе, – почему-то решил я, видимо оттого, что знание языков не вязалось в моем воображении с банальной уголовщиной. Клаус хмыкнул.

– Какая, к черту, разница. Лучше держаться от них подальше. Хотя, с другой стороны, если он подстрелит одного из тех псов, что идут нам навстречу...

Он не договорил, поскольку «псы» подошли совсем близко. Лицо Клауса сделалось каменным. Простые солдаты не любят полевой жандармерии, а та отвечает им взаимностью. Полагаю, мы оба синхронно подумали о бутылках и сале в наших мешках, однако трое патрульных ограничились советом держаться поближе к поезду. Таких, как мы, тут вертелось множество, и мы не представляли особого интереса.

– Славные ребята, – смягчился Клаус. – Дай Бог им вернуться домой.
Я согласился.

* * *

Дальнейший путь – после того как бутылки были осушены, а сало съедено – проходил всё в той же полудреме, когда перестук колес на стыках то навеивает сон, а то не дает уснуть, сколь бы сильно тебе ни хотелось. В нормальной жизни подобное путешествие вызовет скуку и желание, чтобы оно поскорее окончилось, но тут, прямо противоположным образом, хотелось, чтобы оно продолжалось бесконечно, – и чем ближе к цели, тем сильнее это желание становилось.

Потом потянулась Волянь, или, как называли ее в прежние времена, Лодомерия. На полустанках у поездов шныряли горластые, не очень красивые девки, предлагавшие всякую снедь, как водится, сало и самодельную водку. Их отгоняли местные полицейские, носившие иную форму, чем синяя польская, а то и вовсе обходившиеся безо всякой, одеваясь кто во что горазд. Разобравшись с бойкими соотечественницами, они, как правило, принимались за торговлю сами, озираясь по сторонам, чтобы не стать, в свою очередь, жертвой нашего военного патруля. Это забавляло Клауса, но отнюдь не мешало ему заниматься торговлей, обеспечивавшей меня, Дидье и пару наших знакомых туземными деликатесами, съев которые мы снова забывались в тревожном полусне.

По переезде через старую советскую границу количество разрушенных домов заметно увеличилось. Население сделалось более хмурым – хотя торговля продолжалась и тут, – полицейские поголовно были вооружены винтовками, количество наших военных на станциях заметно возросло.

На запад один за другим тянулись поезда с ранеными, мы старались на них не смотреть. Из других составов, не менее многочисленных и двигавшихся под хорошей охраной, раздавалось мычанье и бляенье домашней скотины. А однажды навстречу выкатил поезд, состоявший из открытых платформ, опутанных по периметру колючей проволокой. На них под прицелом пулеметов, водруженных на головной и замыкающий вагоны, плотной стеной стояли заросшие щетиной люди в грязных лохмотьях. Другие лежали и, по всей видимости, были мертвы. Моросивший с неба холодный дождь их нисколько не беспокоил.

– Хотел бы я знать, сколько выживет этих иванов, – пробормотал Дидье.

– А тебе не плевать? Самому бы живым остаться, – зло бросил Клаус и занялся подсчетом оставшихся у него банок с голландским кофе, пачек сигарет «Голуаз» и бесценных коробочек с зубным порошком «Колинос».

* * *

Спустя пару часов, уже под вечер, когда эшелон остановился у переезда возле черневшего в сумерках леса, мы увидели еще одну малопривлекательную картину. Прямо под полотном были аккуратно выложены трупы мужчин и женщин. Большинство в гражданской одежде (в глаза бросались вышитые сорочки), некоторые – в обносках военной формы, в полутьме не

разобрать – нашей, русской, польской? Рядом стояло с десятков солдат и всё тех же вездесущих полицейских, которые оживленно о чем-то переговаривались на своем невразумительном языке.

– Какого черта их тут разложили? – пробурчал Клаус.

– Для подсчета, обычное дело, – ответил коренастый унтер лет тридцати, назначенный старшим по нашему вагону. Завязалась дискуссия. Кто-то прикинул:

– Штук двадцать, не меньше. Интересно, кто это?

– Какие-нибудь партизаны, – рассудил унтер.

– Или заложники, – заметил Дидье.

– Вряд ли. Погляди на тех в форме.

– А бабы? Тоже партизаны?

– Запросто. Мало их, что ли, по лесам прячется?

– От кого?

– От большевистских наймитов и их еврейских пособников, – предположил Клаус. Никто не рассмеялся, и он предложил: – Пошли лучше кофе пить. У туземцев мой товар не идет, не в коня корм. Если у кого есть лишнее мыло или спички – меняю.

Он отошел к печке, и вскоре по вагону разнесся аромат, напоминавший о доме. Но куда поезд не тронулся, к кофе никто не прикоснулся. Когда мы наконец расселись с кружками в руках, разговор зашел, конечно же, о бандах.

– Тут этого дерьма полным-полно, – делился с нами унтер, прежде служивший в Ровно, одном из главных здешних городов, и направлявшийся теперь в свою часть под Харьковом. – И чтобы разобраться, кто за кого, надо быть самим Риббентропом. Одни называют себя советскими, другие – польскими, и все ведут свою политику.

– Плевать я хотел на их политику, меня больше интересует их отношение к железной дороге, – заметил Дидье.

– Диверсанты они и есть диверсанты. Случается, рвут, – ответил унтер коротко.

– А как рвут: с поездами или без?

– Это уж как получится. Ясное дело, с поездами приятнее. Особенно если с отпускниками.

От шутки каждый невольно притих. Подпрыгивание вагона на стыках сделалось ощутимее, налицо был случай, когда опасность с полным основанием ощущается именно задом. Если честно, так себе чувство.

– Обойдется, – заметил некий фаталист, невидимый в темноте. – На все составы у них ни сил, ни взрывчатки не хватит. Железнодорожная охрана опять же. Положат, как тех, что сегодня.

Это не успокоило.

– И ведь наверняка предпочитают ближе к ночи действовать, – предположил Клаус, вглядываясь в густеющую темноту, в которой растворялся лес, огороженный от полотна широкой полосой отчуждения. Помолчав, добавил:

– Может, еще кофейку?

– Ага, на ночь оно в самый раз, – то ли поддержал, то ли пошутил Дидье. – Чтоб диверсанта не проморгать.

Унтер решил сменить тему разговора:

– А вот русские, я слышал, опять наступают.

– Далеко не продвинутся. Им снова навалили под Демянском.

Мне удалось уснуть лишь под самое утро, когда за окном тоскливо забрезжил рассвет.

* * *

На станции Фастов я и Дидье покинули вагон. Клаус, унтер и другие попутчики продолжили путь до Киева, чтобы там пересесть на поезд, следовавший до Харькова, а мы покатали в Днепропетровск, где нам предстояло свернуть на юг. «Еще денек, и мы дома, – мрачно сказал Дидье, распечатывая пачку «Голуаз», дружески подаренную Клаусом. – Закуришь?» Я повертел головой.

На следующий день, ясный, солнечный и по-южному теплый, мы с десятками других солдат – побывавших в отпуске, выписанных из госпиталей, а то и вовсе только что призванных на службу – высыпали на станции посреди степи, согласно полученному в Фастове предписанию. Находившиеся там чины военной полиции объявили, что нас ждет дивизионный учебный лагерь. «Вот, оказывается, чего нам не хватало, – сказал Дидье. – Мы им фронтовики или щенята сопливые?» Кто-то разумно заметил: «Зато не сразу в окопы, разве плохо?» Дидье сплюнул в пыль и принялся пристраивать на ранец ставшую ненужной шинель.

Подъехавший к станции мотоциклист указал нам дорогу и в облаке пыли укатил восвояси. Жандармы проследили, чтоб никто не задерживался. Десяток минут спустя, растянувшись нестройной колонной, мы двинулись в сторону лагеря. До него оставалось километров пять ходу по раздолбанной белой грунтовке.

Пристанционный поселок, через который мы шли первую четверть часа, поначалу казался совершенно безлюдным. Однако вскоре на наличие населения указала установленная посреди пустынной площади и охраняемая русским полицейским виселица с десятком подвешенных к перекладине мужчин и женщин. Со связанными за спиной руками и, как водится, снабженных фанерными табличками, указующими на причину сурового наказания. На одной, свисавшей с шеи немолодой сухопарой тетки, я разобрал кириллическую надпись «САБОТАЖ».

– Пошла восточная экзотика, – прокомментировал Дидье и недовольно обратил лицо в противоположную сторону. Я поступил точно так же, лишь ненадолго задержавшись на прочих табличках. Реакция новобранцев заметно разнилась – если одни не могли оторвать от жуткого зрелища глаз, то другие поспешно отворачивались, словно от чего-то неприличного, на что до определенного возраста категорически не следует смотреть. «Привыкнете», – подумал я с не свойственным мне злорадством. Потом отметил, что не ужаснулся этой мысли, что дополнительный раз подтверждает, какой аморальной амебой я стал – хотя дело не в амебности и не аморальности, а в том, что душа обрастает защитной коркой, вот и моя обросла.

Мыслями о корке отделаться не удалось. Невесть откуда на пути нашей колонны возникли двое лейтенантов-танкистов, совсем еще молодых и розовощеких, и обратились они не к кому-нибудь, а ко мне.

– Старший стрелок! – сказал один из них, повыше ростом. – Окажите услугу – щелкните нас. Интересный план, не правда ли?

Я не стал предаваться раздумьям, отчего им захотелось сняться на столь неприглядном фоне. Возможно, им он виделся иным, вполне подходящим для приветов с Восточного фронта. Выйдя из колонны, я взял в руки камеру и подождал, пока лейтенанты, в еще новеньких черных куртках, с широкими воротниками и лацканами, встанут лицом ко мне и спиной к мертвецам. Полицейский, спохватившись, отошел подальше от виселицы.

Я стал наводить объектив. Первым, что в нем оказалось, было посиневшее лицо – той сухопарой тетки, саботажницы. Я поспешно, пожалуй слишком, щелкнул пальцем по кнопке спуска. Отдал камеру лейтенанту. Спросил, могу ли идти. Он улыбнулся и пожал мне руку. Я догнал Дидье, не вполне уверенный в том, что достаточно низко опустил аппарат и лейтенанты попали в кадр.

Через час впереди показались ряды недавно выстроенных бараков. Наш путь завершился, по крайней мере на две-три недели.

Весна

Флавио Росси. Фронтовой корреспондент. Род. 1901

Вторая половина апреля 1942 года

Всё началось с того, что Тарди, начальник отдела, сказал мне в четверг, предварительно пригласив в кафе на интересный, как он выразился, разговор:

– У меня сложилось впечатление, Росси, что вы засиделись в Милане и успели изрядно устать.

Утверждение отчасти было верным, но я не признался бы в этом по собственной воле. Мне уже давно хотелось выбраться из Милана. Куда-нибудь в Гран-Сассо, на Капри, на худой конец – в Сардинию. Но поскольку достойное внимания, с точки зрения редакции, происходило исключительно в Албании, бывшей Югославии или России, я предпочитал помалкивать о подобных своих настроениях. Между тем начальник отдела продолжил:

– Вы ведь, я слышал, изучаете русский?

И это, увы, было правдой, и тоже отчасти, поскольку поверхностное ознакомление и основательное изучение совсем не одно и то же. Один вопрос – он-то откуда узнал? Неужто успел нащептать Тедески? Или, может, Елена? Дружеские отношения толстого Тарди с последней уже не раз сбивали меня с толку, и если бы не мое к ней равнодушие в последние шесть лет, я давно бы разобрался с этой парочкой. Но сама мысль о действиях, причиной которых могла бы стать супруга, вызывала у меня отвращение. Возможно, лет пять назад – но не после того, как я последовательно сбегал от нее сначала в Абиссинию, где меня могли запросто убить эфиопы, потом в Испанию, где меня едва не расстреляли марокканцы, и, наконец, во всё ту же Албанию, где я, по счастью, задержался недолго.

Мои успехи в русском были довольно скромными. Я взялся за него весной прошлого года, когда всё вокруг указывало, что скоро начнется и там, а мысль, что надо бы снова удрать от Елены, опять не давала покоя. Однако, когда ожидаемое на самом деле началось, мое желание отправиться на русский фронт мгновенно испарилось и даже Елена с ее семейством не пробуждала во мне неумолимой прежде жажды странствий. Я становился тяжел на подъем, не говоря уже об учительнице русского, юной хорватке по имени Зорица, занявшей с прошлого сентября существенное место в моей жизни, ставшей в последние два года размеренной и даже буржуазной. Иными словами, я становился домоседом, готовым сменить ненавистное жилище с обитавшей в нем Еленой разве что на Капри или Сардинию, где под руководством бывшей студентки из Загреба продолжил бы изучение нелегкого славянского языка.

– Учитывая ваши успехи в русском, – между тем говорил Тарди, помешивая ложечкой в чашке, – лучшей кандидатуры для командировки в Россию не найти.

«Подонок», – подумал я, ожидавший чего угодно, только не этого. В конце концов, если бы речь шла о Хорватии, я бы мог прихватить с собой Зорицу и периодически скрашивать опасные будни заездами к ней в гости. (Хотя, боюсь, это была иллюзия, не для того она оказалась в Милане, чтобы добровольно вернуться назад.) Но Россия – это было уж слишком, безотносительно к ней, к Елене и даже к остолопу Тарди. А тот продолжал говорить. Оглушенный, я не слышал и половины, лишь изредка обращая внимание на отдельные фразы. Вроде такой:

– Поскольку мы с вами старые фашисты...

«Старый фашист тут ты, – в ярости думал я, – а я новый и в отличие от тебя довольно-таки молодой». Тарди же развивал свои мысли на тему важности военных репортажей для поднятия духа нации и чего-то еще. До меня доносилось:

– Наша публика... Наш вождь...

«Срать я хотел на твою публику, на тебя и на твоего вождя», – хотелось бешено выкрикнуть мне, но это тоже было бы слишком, во всяком случае, для сорок второго года, в котором мы обретались, и я молчал, невозмутимо отколупывая десертной вилкой кусочки от пирожного «Голова мавра».

– Разумеется, я не могу настаивать на вашей поездке, но, думаю, вам самому было бы любопытно поглядеть на военные действия подобных масштабов. Ведь это совсем иной размах, чем Абиссиния и Испания.

«Сам ты рогоносец», – подумал я, отпивая кофе и мучительно соображая, не плеснуть ли остатками ему в физиономию. В следующие двадцать минут мы пришли к полному согласию касательно необходимости и желательности моей поездки, размера командировочных и суммы возможных гонораров.

* * *

Дальнейшее развитие русского сюжета выглядело следующим образом. Дома меня встретила Елена, прямо на пороге. Грусть в ее глазах не скрывала радостного возбуждения.

– Я всё приготовила, дорогой. Осталось лишь сделать некоторые необходимые покупки.

– Что «всё», дорогая?

– Звонил Тарди, сказал, ты на днях едешь в Россию.

– Дорогая, а тебе известно, что ты шлюха?

– Почему, дорогой? – удивилась она, похоже искренне, хотя не без кокетства.

Я залепил ей пощечину. Было интересно наблюдать реакцию человека, я бы даже сказал, женщины, готовой получить подобное от кого угодно, но только не от меня. Строго говоря, ее удивление можно было легко понять: после двух годичных отлучек я давно уже лишился морального права на всякие претензии по отношению к ней. Но надо же соблюдать хотя бы видимость приличий.

Прощание с юной хорваткой оказалось более драматичным. Хотя внешне всё выглядело благопристойно.

– Я понимаю, милый, – говорила она, лежа в кровати на животе, что позволяло мне любоваться очаровательной попкой, которая семь месяцев назад в одночасье завладела моим воображением, позволив на время забыть о войне, редакционных дрызгах и пребывании Елены в моем доме (последняя считала, что это я нахожусь в ее доме, и в этом, увы, была доля истины). – Я всё понимаю, милый, и ты не должен беспокоиться по этому поводу.

Потом были слезы, по счастью, не очень обильные, бутылка фраскати, приличествующие случаю телодвижения и нежное расставание на пороге небольшой комнатенки, снимаемой не без моего участия. «Кто поможет ей теперь?» – грустно думал я, спускаясь по ступенькам и понимая, что любая помощь, оказанная Зорице, не обойдется без ответного дара, вроде того, который я, как мне мнилось, получал безо всякой корысти с ее стороны. Да и в корысти ли дело? Идет война, а женщины в этом мире так беззащитны, что всякому мужчине, не чуждому благородства, сразу же хочется защитить их, прикрыть своим телом, желательно в постели. Черт.

* * *

Последующие сборы заняли двое суток, а спустя еще несколько дней, переехав возвращенную румынам Бессарабию и старую границу на Днестре, я уже катил в пассажирском вагоне по Южной России. Зрелище за окном было довольно утомительным – одна и та же бесконечная равнина, оживляемая разве что покореженной техникой среди буйно зеленевшей в это время года степной растительности. Впрочем, слово «оживлять» в данном случае вряд ли подходило.

Как бы то ни было, когда зашедший в купе немецкий ефрейтор сказал: «С приездом, господин репортер», – я был бесконечно рад. Мне захотелось дать ему на выпивку – но я не захотел быть понятным превратно.

– Хорошо доехали, – добавил солдат, – а вот следующий поезд пытались пустить под откос. Обошлось, но погиб офицер.

Я мысленно перекрестился. Что бы сказала Елена, постигни меня подобная участь? Лучше было не думать. Как и о той *carte blanche*, которую получила бы Зорица в случае моей безвременной трагической кончины.

– Я отнесу ваши вещи на вокзал, – продолжил ефрейтор. В ответ на мой протест прозвучало: – Приказ господина капитана.

Капитану я возражать не стал. В военной обстановке с военными лучше не спорить, им виднее.

Я легко соскочил с подножки и с удовольствием ощутил себя на твердой, пусть и вражеской земле. Полагаю, мой вид для здешних мест был довольно экстравагантен. Чего стоил один тропический шлем, на фоне которого фотоаппарат и пара свисавших с плеч кожаных сумок смотрелись вполне ordinarily. Солдат с моим саквояжем в руке уверенно направился через рельсы в сторону сгоревшего строения. Потом мы пошли вдоль путей и разбросанных по соседству невзрачных беленых домов с невысокими изгородями, отделявшими их и примыкавшие к ним огороды от пыльного подобия улицы. Поскольку мой вагон был предпоследним, расстояние до вокзала оказалось порядочным, и я по достоинству оценил заботу неизвестного мне капитана.

Станция выглядела большой и оживленной. С гудками и пытением маневрировали паровозы, раздавался, неясно откуда, собачий лай, поспешно двигались группы людей с чемоданами и узлами. Вдоль товарных составов стояли русские полицейские с белыми нарукавными повязками, озабоченно сновали солдаты в зеленовато-серой (или серовато-зеленой) униформе. Сам вокзал представлял собой одноэтажное обшарпанное здание, возле которого возвышалась водокачка красного кирпича и ряд пирамидальных тополей. Мне еще предстояло убедиться, что обшарпанный вид самых разнообразных строений представляет характерную черту этой новой для меня страны.

– Разрешите доложить, господин капитан, – обратился мой Вергилий к невысокому румяному человеку в фуражке. – Господин итальянский корреспондент прибыл. В целостности и сохранности.

Немец приветливо улыбнулся и протянул мне руку.

– Капитан Рудольф Хербст, рота пропаганды. Быть в наше время в подобном месте в целостности и сохранности – немалое достижение, вы в этом скоро убедитесь. Мне поручено ввести вас в курс дела и оказать содействие на первых порах, пока не придет Грубер.

Не спрашивая, кто такой Грубер, я ответил капитану улыбкой и привычно назвал себя:

– Флавио Росси. Фронтowej корреспондент газеты...

Эти слова, уже произносившиеся мною в Абиссинии, Испании, Албании, а теперь вот здесь, всегда нравились мне своей лаконичностью, сопряженной с неким суровым и даже величественным смыслом. Я не был уверен, что название моей газеты известно германскому офицеру, но при случае мог легко доказать, что она является не последним из изданий моей фашистской родины. Капитан Хербст его знал.

– Впервые в России, господин Росси? – осведомился он, открывая серебряный портсигар.

Я развел руками, заметив, что всё бывает впервые, даже первая любовь. Мне было интересно, пошутит ли он насчет моей фамилии или удержится от каламбура, которым меня донимали редакторы, испанские националисты и немцы из «Кондора». Хербст не удержался.

– Стало быть, Росси? – произнес он, задумчиво извлекая сигарету и протягивая мне портсигар. – Могу предположить, что, когда вы пишете о русских, вы не называете их красными.

Мой ответ был давней заготовкой.

– Разумеется. Профессиональная привычка – избегать повторов.

– Я тоже против подобных квазиметафор. Надо называть вещи своими именами, чтоб впоследствии не случилось недоразумений. Но начальство считает иначе. Разрешите пригласить вас отобедать в нашей офицерской компании.

Я был не против и в сопровождении приветливого капитана и ефрейтора стал подниматься по вокзальным ступеням. Как раз в этот момент мимо повели очередную толпу мужчин и женщин, порою очень молодых, почти детей, с чемоданами и узлами. Они были бы похожи на обычных пассажиров пригородных поездов, если бы не сопровождавшие их серо-зеленые солдаты и полицейские с повязками. Я не удержался от вопроса:

– Кто эти люди?

– Направляются в Германию. Трудиться ради победы нашего оружия. Великогерманская империя освобождает их от большевистского ига и вправе ожидать от них известной благодарности.

Ответ капитана Хербста, вопреки недавнему заявлению не назвавшего вещи своими именами, не исчерпал моего любопытства. Я задал новый вопрос:

– Они едут добровольно?

Хербст пожал плечами, было видно, что подобные зрелища давно ему наскучили.

– Более или менее. Кто в этом мире любит трудиться? Только люди творческих профессий вроде нас с вами, да и то не всегда.

Он улыбнулся вновь, но я, сам не знаю почему, не унимался, хотя ефрейтор уже давно держал передо мной распахнутую дверь. Возможно, в меня вселился дух противоречия, что порой случается с младшими партнерами по тому или иному предприятию. В нашем случае с младшим, пусть и не по возрасту, союзником.

– Похоже, менее, – заметил я. Хербст не смутился.

– Возможно, но обратите внимание – они довольно спокойны. В целом, это стадо. Человеческое стадо. Помните, в доисторическую эпоху?

– Что-то припоминаю, – ответил я, хотя подобное сравнение не показалось мне корректным. Но не стоило поспешно судить о том, о чем не имеешь ни малейшего представления. Тем более что на сей раз капитан сказал то, что думал на самом деле.

Мы вошли в здание вокзала и направились в буфет, где был накрыт стол для нас и двух товарищей Хербста. Он был совсем неплох, даже изыскан, и наличие консервов – отличных французских сардин в оливковом масле – скорее шло ему на пользу, не говоря о двух бутылках отличного мозельского, пусть я и не поклонник немецких вин. Ефрейтор с парой других солдат, вероятно, сопровождавших моих сотрапезников, сидел за несколько столиков от нас, утоляя голод примерно тем же, что и мы, и запивая съеденное пивом. Больше в буфете не было никого. Атмосферу мирного застолья прекрасно дополняла лившаяся из граммофона французская мелодия, почти заглушавшая репродуктор за окном, который попеременно транслировал военные марши и новости на немецком и на русском языках.

– Пропаганда не должна прерываться ни на час, – заметил по этому поводу капитан, – но мыслящим людям ее слушать не обязательно. Мы с господином Росси ее создаем. Ваше здоровье!

– Ваше здоровье! – отозвался я. – Однако после долгого пути мне хотелось бы услышать последние новости.

– Могу дать собственную версию, – усмехнулся молодой лейтенант, кажется артиллерист, сидевший слева от меня. – «Доблестные германские войска и их союзники теснят большевиков по всему фронту. Новые славные победы немецкого, итальянского, румынского, венгерского, словацкого, хорватского, финского оружия. Население радостно приветствует своих освободителей».

– Не факт, – возразил старший лейтенант, сидевший справа. – Последнее время на фронте затишье.

– Жалко, не в тылу, – хмыкнул Хербст. – Вы слышали, наш итальянский друг буквально проскочил под носом у диверсантов? А следующий поезд – нет. Между прочим, есть жертвы.

– Жертвы, к сожалению, есть всегда, – сказал молодой лейтенант. – Но, даст Бог, мы переживем всё это и...

Его высказывание было прервано неожиданно раздавшимися криками за окном. Грохнул выстрел, другой, третий. Мы поспешили на крыльцо. Офицеры на ходу доставали пистолеты. Я пожалел, что легкомысленно оставил личное оружие в саквояже. К нам подбежал рослый унтерфельдфебель.

– Что тут у вас? – резко спросил его старший лейтенант, по всей видимости отвечавший за погрузку трудового контингента.

– Бежал какой-то мальчишка. Проскочил под вагоном и дал деру.

– И что? Я слышал выстрелы.

– Не попали. – Лицо унтерфельдфебеля выразило раскаяние в проступке подчиненных.

– Кто стрелял? Разберитесь и... – старший лейтенант задумался, – и накажите. Понятно?

– Слушаюсь.

– И не нарядом по кухне. Знаю я вас.

Было видно, что старший лейтенант серьезно раздосадован. Хербст попытался его утешить.

– Должно быть, солдатам не очень по душе стрелять в безоружных. Их можно понять.

– Может, оно и так. Но если солдат стреляет, он должен бить без промаха. Во всяком случае, немецкий солдат.

Для него обед был безнадежно испорчен, и вскоре он нас покинул. Молодой лейтенант, напротив, был настроен оптимистически, и после того, как с мозельским было покончено, его стараниями на нашем столе (состав с отправляемыми в Германию работниками к тому времени убыл) появилась третья бутылка, кажется бургундского. Мы пили за победу, Германию, Италию и даже за Абиссинию, за отсутствовавших дам, за Милан, Берлин и Кобленц.

* * *

Вечером мы переместились в жилище Хербста (теперь ефрейтор нес не только мой саквояж, но также фотоаппарат, сумки и тропический шлем). Проворный лейтенант вновь обеспечил нас вином, а домохозяйка, у которой квартировал Хербст, привлекательная русская дама еще не средних лет, – горячей пищей, совершенно необходимой при интенсивном потреблении спиртного.

– Вы неплохо устроились, – позавидовал лейтенант.

– Анна – прекрасная хозяйка, но поверьте, ничего более, – отмахнулся пропагандист. – У нее своя жизнь, у меня своя.

– Тогда я бы попробовал установить с ней более тесный контакт, если вы не возражаете, конечно, – воодушевился лейтенант. – У меня есть кой-какие французские вещицы, духи, чулки, конфеты.

– С моей стороны никаких возражений, но, боюсь, полковник Хаген будет иного мнения. Лейтенант печально вздохнул.

– Такова военная жизнь. Иерархия, субординация. Даже тогда, когда речь идет о любви.

– Такова всякая жизнь. Особенно если речь идет о любви, – наставительно ответил Хербст. – В правильно организованном обществе это дополнительный стимул для карьеры и служебного роста. Так что предлагаю выпить и не грустить по столь мелкому поводу.

– Фрау Анна, полагаю, не единственная женщина в этом городе? – заметил я.

Хербст тоскливо поморщился.

– Что вы называете городом, дружище? Жалкий городишко, хоть тут и обитает полсотни тысяч жителей. Это Россия, иной масштаб, а ко всему невероятная тяга аборигенов к перемещению в пространстве. Найти в такой дыре подходящую женщину не проще, чем в какой-нибудь альпийской деревушке. Всё достойное внимания сразу же после школы норовит упорхнуть в Киев, Днепропетровск, Одессу. А то и напрямиком в Москву и Петербург. Я торчу тут почти два месяца, и мне приходится пробавляться черт знает чем. Или дешевыми шляхами, прости господи, или вчерашними школьницами.

– Разве школьницы – это плохо? – удивился лейтенант.

– Вы еще молоды и не умеете ценить опыт. К тому же не воображайте, будто школьницы так и кинутся в ваши объятия. Среди них хватает идейных, в пору организовывать «Сталинский союз русских девушек». Чин-чин.

На этом наш разговор о женщинах кончился. Началось обсуждение военных вопросов, и вскоре молодой лейтенант уснул. А Хербст, открыв новую бутылку, излагал свое видение положения на фронте:

– Тебе страшно повезло, старина, что ты оказался здесь именно сейчас. Ты ведь не против, если я буду на «ты», мы все-таки достаточно выпили вместе. Затишье скоро кончится. Скажу честно и не для печати: эта кампания будет решающей. Мы выдержали первую русскую зиму и должны избежать второй. Разумеется, если надо, выдержим и вторую, но лучше обойтись без излишеств. Не знаю, что решат наши стратеги, но главное теперь, я так думаю, и думаю, что я прав, окончательное завоевание русского юга. Перерезать Волгу, выйти на Кавказ. Ну и овладеть Крымом, этой чертовой занозой, засевшей в брюхе наших армий. Ты ведь, я слышал, направляешься туда, к Манштейну? Имей в виду – как человек южный, ты можешь не заметить, но для русских это крайний юг. Он был для них курортом, не для всех, разумеется, а для членов партии, правительства и прочих евреев. Так что желаю тебе приятного отдыха.

– Спасибо, – ответил я, и мы вновь осушили бокалы, принадлежавшие то ли Хербсту, то ли фрау Анне. Испытывая приятное головокружение, я добрал до туалета, где пробыл довольно долго. По возвращении меня потянуло на интервью. В состоянии опьянения это бывает со мною редко, но в известных обстоятельствах случается и такое.

– Ты позволишь вопрос? – спросил я Хербста. – Чисто формальный, однако с расчетом на искренний ответ: за что воюешь лично ты, помимо империи, чести, славы?

Тот не смутился и даже не стал напоминать, что, строго говоря, не воюет, а служит в роте пропаганды. Ответ прозвучал торжественно и вместе с тем доверительно.

– Видишь ли, Флавио, – начал он. – У меня личный счет к социалистам и евреям, настоящий личный счет, а не дешевый мелкобуржуазный антисемитизм. Мой отец, между прочим, барон, погиб во Фландрии в самом конце войны. Мне было тогда восемь лет, но я хорошо помню Берлин в восемнадцатом и девятнадцатом. Мне казалось, что все они чуть ли не радуются его гибели. Понимаешь?

– О да, – ответил я, вспомнив вдруг, как с позиций на Изонцо возвращались фронтовики, измученные и недоумевавшие, отчего им никто не рад, и как позднее моя мать ругалась по поводу тысяч безработных, заполонивших город после демобилизации.

– Кстати, ты фашист? – неожиданно спросил Хербст.

– Видишь ли, Рудольф, – начал я, – как всякий честный итальянец...

– Вот это оставь для других. Я спрашиваю о твоих личных убеждениях. Я, например, был воспитан в ненависти к самому слову «социалист» и долго колебался, прежде чем вступить в партию, в названии которой содержится слово «социалистическая». Но потом я понял, что это значит – быть национал-социалистом. Так кто же ты, Флавио Росси?

– Фашист, – ответил я, стараясь смотреть ему прямо в глаза.

Он пристально поглядел на меня и уверенно поднял бокал.

– Чин-чин!

Мы снова чокнулись и, вконец обессиленные, завалились спать. Вытянувшись на раскладной походной койке, заботливо поставленной для меня Вергилием-ефрейтором, я забылся тяжелым сном. Мой первый день в России подошел к концу.

А на следующий день появился Грубер, мой настоящий Вергилий.

Скифская степь Курт Цольнер

Конец апреля – 10 мая 1942 года

На следующий день по прибытии я в полной выкладке – ранец, шинельная скатка, под- сумки, противогаз, куча всякой всячины, повешанной и понатыканной там и сям, – в цепи из сотни человек штурмовал какой-то пригорок в нескольких километрах от нашего лагеря. Мы занялись этим приятным делом сразу же после двухчасовой пробежки, прерывавшейся по ходу упражнениями вроде отжиманий от земли или попеременного поднимания товарища на спине, – и конца нашему штурму не предвиделось. Надежно замаскированные на пригорке пулеметы поливали окрестности, так сказать, свинцовым дождем, солнце палило вполне полетному, и мы, извиваясь, ползли в пока еще зеленой траве, совсем не такой, как в прошлом году, когда мы вторглись в Россию, – ведь тогда был уже разгар лета, а сейчас всего лишь весна, наша первая весна в этой злосчастной стране. Последняя ли, и если последняя, то в каком смысле?

Нашему броску на полигон предшествовало утреннее построение. Когда отзвучал Хоэн-фридбергский марш, начальник лагеря, майор Бандтке, поздравил нас с началом нового этапа нашей военной биографии и объяснил, в чем состоят наши задачи. Он был краток, откровенен и по-своему красноречив.

– Своим зимним наступлением, – сказал он, прокашлявшись и скептически оглядев серо-зеленые ряды новобранцев и вчерашних отпускников, – русские создали нам множество трудностей, но теперь, воспользовавшись передышкой, мы можем переломить ситуацию. Скоро будут нанесены удары невиданной мощи, и оборона русских где-нибудь да рухнет, после чего красная империя окончательно испустит дух. Не все доживут до великого дня, жертвы будут немалыми. А потому покуда есть время, вы должны учиться побеждать, то есть действовать так, чтобы мертвым оказался враг, а не вы. Пока есть время – учиться, учиться каждый день, учиться каждый час. Скоро времени не будет – и тогда вы пожалеете о том, чего не успели усвоить. Если успеете. Среди вас нет полных новичков в военном деле, среди вас хватает фронтовиков, но и им есть чему поучиться.

Так что теперь мы учились. Солнце стояло в зените, и было ясно – обед нам не видать. Сукно мундиров пропиталось потом. Стук пулеметов почти не прекращался, а когда он всё же ненадолго затихал, раздавались голоса наших наставников, лагерных унтерофицеров и фельдфебелей: «Жопы не поднимать... Готовьте гранаты... Вперед...» Пролетавшие в раскаленном воздухе пули сшибали листья с деревьев на краю полигона.

– Господи, сколько же можно, – пробормотал ползший рядом со мной и Дидье новобранец.

– Заткнись и делай, что сказано, – отрезал Дидье, вытягивая из-за пояса «толкушку», – русские перерывов на обед устраивать не станут. Они вообще могут месяцами ничего не есть.

– Разве что мясо молодых и неопытных бойцов германских вооруженных сил, которые не хотели учиться в тренировочном лагере, – поддакнул я.

– Кончай языками чесать! – проорал вынырнувший из травы унтерфельдфебель, руководивший всей операцией. – Бьют по левому флангу, у нас чисто, перебежками – вперед.

«Совсем очумел, – успел подумать я. – Эти олухи, если что, даже залечь не успеют». Но сразу же вскочил, дернув новобранца за воротник и увлекая его за собой. Мой прогноз оправдался: через секунду пули запели над нами и я плюхнулся на землю, вновь дернув новобранца и заставив его мешком повалиться рядом. Тот ошарашенно поглядел на меня, я попытался улыбнуться.

- Это не самое страшное. Как тебя?
- Петер...
- Ползем, Петер.

Мы поползли опять. До пригорка оставалось совсем немного, стук пулеметов сделался оглушительным, невыносимым, и лишь сознание, что пронсящийся над нами вихрь пуль, в принципе, ни для кого не предназначен, позволяло мне и Дидье продвигаться без особого страха. Нашему Петеру, однако, приходилось труднее – бывать под настоящим обстрелом и видеть настоящую смерть парню не доводилось, и всё, что происходило здесь, воспринималось им совсем иначе.

Наконец обстрел утих, и нам дали приказ подняться. Задача была выполнена. Левому флангу нашей цепи удалось подползти к пулеметным гнездам и забросать их имитаторами гранат. Теперь, когда все выстроились, унтерфельдфебель Брандт, тот самый, что полз за нами следом, принялся распекать нас, правофланговых, за пассивность и трусость.

– Хотите выиграть войну на чужом горбу? – орал он, прохаживаясь вдоль строя нашего отделения. – Хотите меня опозорить? Хотите сдохнуть в первом же бою? Хотите дезертировать?

Утешало одно: выстроенным неподалеку другим отделениям, судя по доносившимся оттуда начальственным воплям, доставалось ничуть не меньше. Если бы не усталость и не пропавший обед, нам бы решительно не стоило расстраиваться. Но словно предвидя подобные настроения у бывших отпускников и желая доказать, что ему не до шуток, Брандт распорядился повторить операцию еще раз. А спустя полчаса (на этот раз с пулеметами было покончено заметно скорее) – еще два раза. Уже после первой нашей атаки пулеметные расчеты были демонстративно заменены другими и отправлены в лагерь. «Людам надо поесть», – объяснил Брандт, вызвав в наших рядах приступ безмолвной ярости, во многом ускоривший успешное завершение повторной операции.

Нам с Дидье удавалось держаться вместе. Петер тоже всё время оказывался вблизи. Парень он был, прямо скажем, неловкий. Мне трижды пришлось его поддержать, чтобы он не свалился, дважды, наоборот, уронить его на землю. «Нам теперь всё время с ним нянчиться?» – недовольно шипел Дидье, на которого иногда находило. Я молчал, не желая звереть раньше времени. Когда пригорок был взят четвертый раз и нас наконец построили в колонну, Петер вновь обнаружился рядом. Едва держась на ногах, он со странной надеждой смотрел на меня – и с некоторой опаской на Дидье. Проходивший мимо Брандт пристально поглядел ему в лицо и покачал головой, выделив для себя из остальных.

Возвращались мы с полигона не тем путем, что пришли, а другим, прямым, через небольшую деревню. Когда мы подходили к ней, Брандт приказал подтянуться и петь. Никто не отозвался. «Хотите осрамиться перед русскими свиньями и остаться без ужина?» – поинтересовался он. Ответом вновь было молчание. Брандт покачал головой, и я понял – медлить нельзя. Затянул первое, что пришло в голову, в надежде, что уж это известно каждому.

Мой грош и мой червонец,
Со мной вы были оба, но
Тот грош ушел на воду,
Червонец на вино, вино.

Я не ошибся. С третьей строчки за мной подхватили почти все, кроме разве что Петера и пары других новичков. На «Хайди-хайду-хайда» не молчал никто, даже Петер. Топот двух сотен каблуков по убитой годами и десятилетиями сельской улице звучал лучшим аккомпанементом старинному гимну студенческого жизнелюбия, даром что студентов, кроме меня и Дидье, тут не было. Не знаю, смотрели ли на нас местные жители, но ежели смотрели, то в

их глазах мы должны были выглядеть разудалыми солдатами, совсем не такими, как десятью минутами прежде. А ведь наверняка смотрели. Чего стоил один запевала.

Трактирщики и девки
Мне прочили беду.
Одни – как к ним приду я,
Другие – как уйду.

Догадывались они, о чем мы поем, или нет? Вряд ли. Вряд ли им вообще было дело до наших песен. Хотя кто знает? Кого-то вполне могло заинтересовать, о чем это горланят проклятые оккупанты и чему они так радуются, дружно выкрикивая «Хайди-хайду-хайда». Не своим ли победам над их страной и ее жестокими бездушными вождями? Не своему ли пребыванию в этом пустынном краю, в этой безбрежной степи? Степи, по которой столетиями проносились орды скифов, готов, сарматов. Степи, видевшей гуннов, болгар и монголов. Степи, где едва не погибло бесчисленное воинство Дария Ахеменида и где спустя тысячу лет прошли в поисках новой родины «наши предки готы». А потом, тесня татар и турок, скакали свирепые казаки, маршировали полки сурового Миниха, любвеобильного Потемкина и кровожадного Суворова. Маршировали и тоже пели что-то свое, совсем не похожее на то, что теперь распевали мы. Но может быть, столь же веселое.

В какой же день чудесный
Меня Бог сотворил!
Парнишка я прелестный,
Ах, если бы не пил, не пил!

Вот так мы и заработали себе ужин. Брандт даже отметил, что благодаря Курту Цольнеру. Впору было надуться от гордости. Кстати, ужин был неплох. Обед, вероятно, тоже.

После отбоя новобранцы моментально забылись тяжелым сном, а мы с Дидье и двумя другими бывшими отпускниками вышли покурить на воздух. Точнее, курили все остальные, а я только присутствовал, поскольку до сих пор не поддался этой вредной привычке. Брандт появился неожиданно, вынырнув из темноты.

– Не спится? Неужто не хватило?

Мы пожали плечами, чтобы не провоцировать его на ужесточение завтрашней программы. Но он был настроен благодушно и даже угостил курящих сигаретами. На долю мне досталась похвала, вторая за день. «Становишься фаворитом», – съязвил потом Дидье.

– Долго нас тут продержат? – спросил я Брандта.

– Черт его знает, всё зависит от обстановки на фронте. Сосунков бы следовало помучить еще месяца два, но это вряд ли. Раньше ведь как было – полгода в армии резерва, не меньше, сами помните. А теперь гонят свежее мясо чуть ли не сразу на фронт.

Мне показалось, что он вздохнул.

– Большие потери, ничего не поделаешь, – заметил Дидье.

– А от этого они еще больше. Так-то, бойцы.

Он ушел, и мы вернулись в барак.

* * *

Еще через день нас переодели в рабочие штаны и куртки из зеленого хлопка – чтоб не портить понапрасну суконный мундир и меньше страдать от жары. Брандт велел нацепить на них все наши регалии – «чтоб видно было, кто не сосунок», – и постарался уходить нас так,

что после отбоя больше никто не курил. Откуда он только брал силы? Носился с нами как лось, разве что без выкладки, орал без перерыва, что-то объяснял, отчитывался перед Бандтке, снова носился, ползал по траве, швырял гранаты. Делал свое дело, бывшее своим далеко не для всех. Похоже, он был не таким уж плохим человеком. Во всяком случае, не занимался столь любимой младшими командирами ерундой, как выбрасывание в окно не вполне идеально запрошенных коек, не орал по десять минут из-за неотчищенного пятнышка на одежде, не водил пальцем по подбородкам, чтобы проверить тщательность бритвы. «Этому надо было дома учиться, а я учу войне», – сказал он как-то мне и Дидье. А что гонял до потери сознания, так тем, кто там уже побывал, оно лишним не казалось, на то он и учебный лагерь. «Учебный лагерь штурмовых групп, – уточнил однажды Брандт и добавил: – Готовьтесь к самому худшему».

Его пунктиком была чистота оружия. Мне и Дидье дважды перепадало от него за микроскопические остатки смазки, которые Брандт, посредством надетой на металлический прут белой тряпочки, обнаруживал в отдаленных глубинах наших винтовок. Что говорить о новобранцах? К орудиям смерти Брандт испытывал нежность, свойственную многим кадровым военным. Безразлично, к немецким, союзным или трофейным. Для нас это было благом. Он так любил поговорить о достоинствах и недостатках различных видов оружия, что мы элементарно могли отдохнуть. Особое внимание, разумеется, он уделял не очень знакомым новичкам русским системам.

– Эта винтовка калибра семь шестьдесят два миллиметра, – радостно выкрикивал он, – ровесница нашей, даже чуть старше. Вещь надежная, в случае чего можно использовать, хотя никакими преимуществами по сравнению с нашими не обладает, к тому же у нее совсем другой предохранитель, обратите внимание и поупражняйтесь.

И новобранцы по очереди тянули непривычные и неподатливые предохранители русских винтовок, стараясь продлить это развлечение как можно дольше – чтобы не носиться как угорелым по жаре, – а потом разбирали и собирали затворы.

– А вот это самозарядная винтовка «СВТ-40», – Брандт любил загадочные аббревиатуры, что также свойственно всем кадровым военным, да и не только им. – Любимый русский калибр – семь шестьдесят два. Слово «самозарядная» звучит соблазнительно, но русские ее не любят, несмотря на нехлопотное перезаряжание. Для них она больно капризна. Боится сырости, холода, песка, неделикатного обращения и вообще всего, что бывает на войне. Особенно, если солдат ленив и не приучен ухаживать за личным оружием. Мы попрактикуемся и с ней. Мало ли что может случиться, а в Крыму этого добра навалом.

И мы радостно практиковались с ненадежной, по мнению русских, автоматикой, радуясь, в частности, ее ненадежности, потому что будь она надежной, то при скорострельности сорок прицельных выстрелов в минуту нам пришлось бы совсем погано. А так, объяснил нам Брандт, русские и сами нередко бросают их, меняя на простую и безотказную старую модель.

– А вот это во всех отношениях ценная вещь! – восклицал Брандт в другой раз, потрясая дубинкой с деревянным прикладом, с упрятанным в дырчатый кожух стволом и с круглым диском посередине. – Называется «ППШ-41». У русских их не так уж много – и это хорошо. Пистолет-пулемет, семьдесят два патрона. Калибр, разумеется, семь шестьдесят два. Выглядит не так красиво, как наш «МП-40», но в деле гораздо лучше. Достоинства – хорошая дальность, неплохая прицельность, надежность. Недостаток – слишком высокая скорострельность.

И, направив русский автомат, точнее пистолет-пулемет, на мишень, он информировал:

– Эта штука разряжается в пять секунд. Считайте до пяти! И – раз...

Я знал, как разряжается эта штука. Когда прошлой осенью живот и грудь Рольфа Крюгера в одно мгновение превратились в кровавое месиво, тому было безразлично, недостатком или достоинством является ее скорострельность. Но она стала несомненным достоинством для его выживших товарищей – когда у увлеченного стрельбой русского внезапно закончился диск, мы подбежали и закидали его гранатами. Он лежал в изорванной осколками зеленой рубашке,

глупо тарашил глаза в осеннее блёклое небо, и мне вдруг подумалось, что, если меня убьют, я буду выглядеть не менее глупо.

Еще Брандт рассказывал о русских пистолетах – мало ли что попадет под руку, – пулеметах, противотанковых ружьях. Но главным оставалось другое – беготня по степи, ползание под пулями, преодоление проволочных заграждений и условных минных полей. В конце недели при метании гранат в соседнем взводе случилась первая потеря – был тяжело ранен зазевавшийся новобранец, сначала не сумевший швырнуть смертельную игрушку достаточно далеко, а потом не успевший залечь. Хорошо, что больше никто не пострадал, такое ведь тоже случилось. А на следующий день впал в прострацию Петер, всё время находившийся рядом со мной и Дидье. («Никак не отлипнет», – возмущался Хайнц.) Похоже, он был смертельно напуган случившимся накануне и в какой-то момент просто выпал из реальности, встал с полуоткрытым ртом и не мог уже сдвинуться с места. Оказавшийся поблизости командир учебной роты капитан Шёнер был в ярости.: «Вот ведь дерьмо, на первой неделе...» По счастью, это произошло под вечер. Брандт приказал нам с Дидье отвести Петера в барак, где мы не без труда и не без помощи пощечин привели его в чувство.

Это было первым симптомом. Петер с каждым днем становился всё мрачнее, ни с кем не говорил, ничего не успевал, опаздывал на построения. Его движения замедлились, в глазах поселились страх и тоска. Что-то должно было произойти, и оно произошло. Снова в конце дня, на исходе второй недели, во время штурма проволочных заграждений под пулеметным огнем. Брандт приказал рывком преодолеть небольшое пространство, отделявшее нас от неглубокой канавы, в которой можно было залечь и отдышаться. Улучив момент, когда огонь откатился в сторону, мы перебежали открытый участок и тяжело плюхнулись на песчаное дно. И уже там обнаружили отсутствие Петера. Обернувшись, увидели, что он стоит во весь рост, бросив винтовку на землю, и кричит непонятно что. Пулемет испуганно смолк. Брандт поднялся, подошел к Петеру и что-то ему сказал. Тот только покрутил головой. Брандт поискал меня и Дидье глазами, мы подбежали, но помочь не смогли, Петер попросту нас не увидел. Напрасно Брандт приказывал ему поднять оружие, орал, убеждал, спрашивал: «Ты понимаешь, что тебе конец, парень?» Всё было напрасно. Петер никого и ничего не слышал. Он кричал, проклинал, плакал. Узнавший об инциденте Шёнер, казалось, был удовлетворен таким исходом. Думается, его логика была следующей: лучше сразу кого-нибудь примерно наказать, чтоб другим неповадно было, чем дожидаться, когда придется наказывать – или отсеивать – сразу нескольких. Петер сломался вовремя.

Для отказников, которых называли «пацифистами», в лагере имелись особые деревянные клетки. Сидеть в них приходилось скрючившись, сверху палило солнце, еды не давали. Нам показали клетки в первый же день, но до Петера они пустовали.

Его случай совпал по времени еще с одним – мы видели, как вели солдата второй роты, судя по всему, не новобранца, который тоже отказался выполнить приказ и тоже бросил оружие наземь. Как и Петера, его поместили в клетку, но он ночью исхитрился удавиться. Петер не смог или не захотел, и на следующий вечер, возвращаясь в лагерь, мы проходили с песней мимо, стараясь не смотреть в его сторону.

* * *

На каждом утреннем построении нам сообщали сводки с фронта. В субботу, после фанфар, по радио прозвучала новость о начале наступления на Керченском полуострове. На следующий день стало ясно, что туда нам уже не поспеть, обойдётся без нас. Вечером, несмотря на усталость, возникли споры: будет ли наша армия после очистки восточной части Крыма сразу же переброшена на Кавказ или сначала покончит с Севастополем? И следовательно, где

окажется наша дивизия и мы вместе с ней. Встал и другой вопрос: какой вариант подошел бы нам больше? Хайнц находил таковым севастопольский.

– Посудите сами, – рассуждал он, как всегда авторитетно. – Под Севастополем мы уже стоим, поэтому никуда идти не надо. Мы торчим там с прошлого года, так что терять нам нечего. Потеряем мы как раз, если уйдем, ведь худо-бедно обустроились. Когда его возьмем, упрямся прямо в море и сможем передохнуть. А если переправимся на Таманский полуостров, – многие из нас уже усвоили новое географическое название, – придется наступать в глубь суши, быть может, до самого Каспия, и черт знает, когда всё это кончится. В лучшем случае пойдем на юг, вдоль моря. А горы на Кавказе повыше крымских. Может, кто из вас и альпинист, но лично я предпочитаю равнину.

Оппоненты его возражали:

– Севастополь – сильнейшая в мире крепость.

– Не сильнее Сингапура, а японцы Сингапуром овладели. Мы хуже?

– Так там ведь были британцы.

– А британцы, что, хуже русских?

Оказавшийся рядом Брандт заметил:

– Когда я слушаю Дидье, мне кажется, что он бывал где угодно, только не под Севастополем. Но я знаю, что он там был, и поэтому удивляюсь.

– Я по натуре своей домосед и не люблю слишком часто менять место жительства.

Брандт ухмыльнулся.

– Ну-ну.

В лагере нам оставалось пробыть последние несколько дней.

Путешествие с Грубером. Борисфенские музы Флавио Росси

30 апреля – 1 мая 1942 года

Клаус Грубер оказался невысоким крепышом лет тридцати пяти, с густыми темными волосами и умным пытливым взором из-под очков в дорогой металлической оправе. Его выправка была военной, а рукопожатие твердым.

– Очень рад, – сказал он, – очень рад. Мне как раз не хватало попутчика, вам, полагаю, тоже. К тому же я неплохо знаю страну, а вы здесь впервые.

Офицерский мундир сидел на нем получше, чем на некоторых кадровых служаках. На плечах поблескивали разноцветными нитями погоны зондерфюрера группы В, что соответствовало чину армейского майора. Я не знал таких тонкостей, но он мимоходом просветил меня на этот счет, небрежно махнув рукой – какая, мол, ерунда.

Мы выпили кофе в компании капитана Хербста и очаровательной фрау Анны, после чего Хербст отправился на службу, а фрау Анна перешла в другую комнату. Раньше это помещение занимали ее соседи-евреи, тогда как в третьей комнате обитала семья партийного активиста – но, как объяснил мне Хербст, в прошлом году евреев выселили, активист исчез, и теперь Анна Владимировна занимала всю квартиру, прежде представлявшую, по ее рассказам, настоящий советский содом, так называемую «коммуналку», жизнь в которой для образованного человека совершенно невыносима.

Грубер достал из портфеля карту и объяснил мне будущий маршрут. Сначала мы должны были ехать на восток, до большого города на Днепре, где нам уже завтра предстояло принять участие в торжествах по случаю Дня труда, а затем оставаться еще несколько дней, разъезжая по окрестностям и попутно следя за развитием дел на фронте. Если ничего не случится на востоке, нам следовало направиться еще в один город, ниже по течению, где Грубер собирался прочесть ряд лекций перед местной общественностью, а мне рекомендовал посетить колоссальную речную плотину, взорванную русскими при отступлении и являвшую собою ныне великолепный пример азиатского варварства большевиков («К тому же там замечательный пейзаж»). И уже оттуда, через так называемый Перекоп, въехать в Крым, занятый одиннадцатой германской армией с приданными ей румынскими дивизиями.

– Вам будет интересно побывать и на празднике, и на лекциях, – заверил меня Грубер. – Составите представление о здешней, – он усмехнулся, – элите. Весьма поучительно. Заодно попрактикуетесь в русском, вы ведь его изучали? Кстати, я слышал о вашей необыкновенной способности точно воспроизводить любую фразу на любом языке.

Его осведомленность меня насторожила. О чем он слышал еще – и главное, от кого? Неужто Тарди выслал им мою подробную характеристику – или они сами собирали информацию? И, спрашивается, зачем? Просто так, на всякий случай? И какое ведомство всем этим занималось?

Я ответил:

– Да, что есть, то есть. Этаким попугайский талант. Причем совершенно не понимая смысла.

Он сказал что-то по-русски. Я повторил. Грубер рассмеялся. Вернувшаяся в комнату фрау Анна тоже произнесла несколько слов. Я повторил и их.

– А ви непогано розмовляєте українською мовою! – заметила она, явно обращаясь к мне.

– Что вы сказали? – растерялся я.

– То, что вы неплохо говорите по-украински, – объяснил Грубер.

– Я училась этому дольше, – заметила фрау Анна. – Иначе бы коммунисты не взяли меня на службу.

Я не понял, что она имела в виду.

Мы выпили еще по чашке кофе, простились с милой хозяйкой и, захватив мои вещи, спустились вниз, где нас дожидались «Мерседес» Грубера и водитель – ефрейтор по имени Юрген, долговязый и простоватый с виду парень, судя по акценту и отдельным словечкам – баварец или австриец. Сам Грубер, кстати, был вюртембержцем и обитал перед войною в Штутгарте.

Мы выехали с обсаженного тополями двора, миновали оцепленную войсками и полицией станцию – туда под музыку и бодрый лай собак стекались новые толпы отъезжавших в рейх работников, – и вырулили на сравнительно широкую дорогу. «В добрый путь!» – сказал по-русски Грубер. Наше путешествие началось.

Зондерфюрер оказался интересным человеком. Возможно, чересчур разговорчивым, но на первых порах это не смущало, напротив, я получал от него массу полезных сведений.

Наш «Мерседес» почти без остановок катил по шоссе, обгоняя колонны грузовиков, танков, подразделения пехоты, вереницы повозок и пушки на конной тяге. Отобедав по пути, мы ближе к вечеру достигли цели – того самого большого города, о котором поутру говорил Грубер. Там мы неплохо поужинали в компании двух офицеров-пропагандистов, не злоупотребив, к моей радости, алкоголем, и разошлись по номерам в аккуратной военной гостинице. Я принял ванну и наконец-то, впервые за несколько дней, сумел по-людски отдохнуть. В одиночестве, уютно и имея достаточно времени на сон. От симпатичной девушки из гостиничной прислуги, уверенно и даже завлекательно застелившей мою постель, я откупился благодарной улыбкой, сопроводив ее парой советских и оккупационных бумажек, которыми располагал в изобилии. Полагаю, она оценила итальянскую галантность и бескорыстие.

На следующий день, уже довольно поздно, я был разбужен ликующим пением фанфар, вслед которому слаженный хор мужчин принялся оповещать окрестности, что знамя поднято, ряды сомкнуты, СА марширует, а товарищи, застреленные Красным фронтом и реакцией, маршируют вместе с живыми. Я отдернул штору и нехорошо подумал про человека, установившего репродуктор напротив моего окна. С другой стороны, грех было жаловаться, наступило первое мая, а часы показывали девять.

Я сделал зарядку, принял холодный душ, побрился и вышел в коридор. Настроение было великолепным. Попавшаяся мне по пути вчерашняя горничная, с чуть помятой прической, смазанной помадой, не вполне выпавшаяся, но вполне довольная, получила от меня в качестве праздничного подарка легкий шлепок по выпуклому заду и несколько новых бумажек. В зеленых глазках промелькнуло восхищение. Похоже, скарденные немцы приучили ее отрабатывать каждую марку, а сталинские большевики – каждый рубль.

– Доброе утро! – приветствовал меня Грубер, тоже вышедший в коридор, уже одетый и готовый следовать дальше. – Угадайте с трех раз, куда мы направимся?

– Полагаю, в ресторан.

– Само собой. А потом?

Я затруднился ответить, ожидая подвоха. Он рассмеялся.

– Правильно, всё равно не догадаетесь. Лично я бы не смог. Нас ждет городская школа, мы приглашены на праздничный концерт. Берите аппаратуру и все, что вам может понадобиться. Думаю, такого репортажа в итальянской прессе еще не бывало.

Я тоже подумал, что такого рода событий наша печать пока не освещала. Хотя за всем не уследишь, а я и не пытался.

Школа, куда мы подъехали после завтрака в ресторане, представляла собой приземистое двухэтажное строение, в котором, как нам объяснили, до революции располагалась женская гимназия – пока коммунисты не покончили с классическим образованием, сделав его «политехническим»; это когда всего помаленьку, никакой латыни и очень много идеологии,

побольше, чем в Италии. Всю дорогу нас сопровождала музыка из репродукторов. Улицы, по которым двигалось наше авто, были украшены транспарантами с кириллическими, латинскими и готическими надписями, портретами фюрера, а также цветами и пестрыми ленточками. Красными, белыми, удивительно, что не черными. Кое-где среди цветков мелькали – то порознь, то в паре – синие и желтые. В этом содержался некий тайный смысл, иначе бы Грубер не строил каждый раз, замечая их, крайне насмешливой мины. Он хотел объяснить мне, в чем дело, но не успел.

На пороге школы, под огромным красно-белым транспарантом, прославляющим победы германского оружия и созидательный труд во имя освобождения от большевизма, нас встретил человек, внешне напоминавший моего спутника. Тоже невысокий и плечистый, однако довольно забавно одетый – в пиджачную пару в сочетании с вышитой цветными нитками крестьянской сорочкой. Его плутоватое лицо украшали пышные усы, делавшие его похожим на русского казака из повести Николая Гоголя, читанной мною незадолго до отъезда в Россию. Он представился директором и, поскольку недостаточно бойко говорил по-немецки, поспешил передоверить нас даме, которую назвал «заведующей учебной частью», короче говоря – заместителем. Даме было сильно за пятьдесят, держалась она уверенно, я бы сказал, монументально, и чем-то неуловимо напоминала Муссолини, произносящего очередную историческую речь на площади Венеции. К сожалению – впрочем, для кого? – ее несколько портила странная прическа в виде обернутой вокруг головы толстой косы пшеничного цвета, более подходившая нетронутой сельской девице, чем столь почтенной женщине на столь почтенной должности. Похоже, советский режим неблагоприятно сказался на русской моде, сместив смысловые акценты и всё перемешав. Победы германского оружия мало что могли тут изменить.

– Юлия Витольдовна Портникова, – с достоинством произнесла она, протягивая руку, которую Грубер и я по очереди пожали.

Мы вошли в здание и двинулись по узкому коридору. Из-за прикрытых дверей доносилась негромкая музыка, раздавались приглушенные детские голоса, в столовой гремела посуда, подготовка шла полным ходом. В актовом зале на поставленных рядами стульях расположились приглашенные. Двое были в серых, двое в серо-зеленых и один в коричневом мундире, прочие – в цивильных пиджаках, а то и просто в крестьянских сорочках вроде той, какую я увидел на директоре. Последний тоже вертелся тут, негромким голосом отдавая распоряжения. Фрау Юлия хотела усадить нас среди самых почетных гостей, но Грубер предпочел устроиться сзади, чтобы видеть всё и всех. Она присела рядом и, наклонившись ко мне, указала пальцем в сторону детишек, чинно сидевших на скамейках вдоль стен.

– Мои цветочки, я бы сказала, цветы жизни. Обратите внимание – ни одного чернявого носача. Наконец-то в нашей школе мы можем видеть только русые головки русских ребят.

– Русских? – переспросил я, раскрывая блокнот.

– Украинских, – поправила она. – Настоящих украинских мальчиков и девочек, которые учатся в возрожденной украинской школе. Вы успеваете записывать?

Я кивнул, и она продолжила:

– Они счастливы, никто не морочит им больше головы коммунистической пропагандой. Отныне ничего лишнего: арифметика, чтение... – Она задумалась, словно бы соображая, что еще изучают настоящие украинские мальчики и девочки. – Да, отныне всё сосредоточено на самом главном... – Она вновь потерялась, но быстро нашлась. – Помимо старых, так сказать, традиционных предметов, мы приобщаем их к подлинной европейской культуре, прежде всего, разумеется, к великой культуре германского народа, этой сокровищнице мирового духа. Шиллер, Гёте... К итальянской культуре тоже. Данте, Петрарка...

Не знаю почему, но в последнем я усомнился. Однако вежливо произнес:

– Это стоит отметить.

– Обязательно отметьте. Я была бы очень рада. Мы будем счастливы развивать всемерные связи с вашей родиной. История итальянско-украинских отношений невероятно богата. Одесса, порто-франко... А сейчас извините, мне надо идти, мы начинаем.

Оставив нам красивую кожаную папку, она твердым шагом направилась к своим «цветочкам». Вертевший головой Грубер весело хмыкнул. Я проследил за его взглядом и увидел, что у нас за спиной – точно напротив портрета фюрера, украшавшего противоположную сторону зала, – висит, в обрамлении вышитых полотенец, портрет усатого субъекта в сюртуке и с похмельной тоской во взоре.

– Кто это? – спросил я шепотом. Грубер со значением поднял указательный палец.

– Местный святой. Вроде Ленина. Только тот теперь в отставке, а этот висел еще при царе и, похоже, перевисит тут всех.

Ему не удалось продолжить объяснение. Концерт начался. На середину зала вышел директор школы и, заглядывая в бумажку, затараторил на своем языке. Стоявшая рядом с ним фрау Юлия без запинки начала переводить, буквально слово в слово и более того – слог в слог.

– А теперь один из наших лучших учеников, отличник и пи... – в этом месте директор запнулся, а фрау Юлия, как мне показалось, слегка побледнела, – и пример всем детям Леня Кравченко выступит со стихотворением, впервые прочитанным в День рождения Вождя и посвященным героической борьбе германского народа и всех наций объединенной Европы против безродного большевизма, московского колониализма и англо-американского империализма.

Грубер порылся во врученной фрау Юлией папке и передал мне лист с немецким переводом произведения, которое нам предстояло услышать. Тем временем в центр зала вышел мальчик лет двенадцати в такой же, как у директора, крестьянской сорочке и в широких штанах, заправленных в невысокие сапоги. Весело тряхнув вихром на голове, он энергично приступил к декламации. Голос был радостен, рифмы точны, ямбы чеканны – чего нельзя было сказать о прозаическом переводе, по строчкам которого Грубер водил указательным пальцем, давая мне понять, о чем сообщают отдельные строфы.

Первая из них, как и положено, служила зачином, обозначала тему, расставляла акценты и указывала на главного положительного героя.

Настал, настал сей час великий,
И вечный революционер
Свой бросил вызов подлой клике,
Подав Европе всей пример¹.

Мне удалось разобрать, что «цио» в слове «революционер» мальчик, как, вероятно, и полагалось в его языке, произнес как «ца», благодаря чему размер нарушен не был. При этом он торжественно повернулся еще к одному портрету вождя, с пояснительной подписью «Гитлер – визволитель», и места сомнениям, кто подлинный герой, остаться уже не могло, хотя я не вполне понимал, почему революционер назван вечным. Во второй строфе начиналось изложение событийной канвы, давалось указание на соратников и антиподов протагониста.

И вот от края и до края
Идут германские полки,
И в страхе, пятками сверкая,

¹ Хотя Флавио Росси ознакомился лишь с прозаическим немецким переводом, автор находит возможным воспользоваться здесь оригинальным текстом, который Флавио как бы то ни было слышал (и даже мог бы при случае воспроизвести отдельные фрагменты).

От них бегут большевики.

Мне представились сверкающие пятки большевиков, это выглядело забавно. Однако нужно было следить за пальцем Грубера, переместившимся на следующую строфу, где тема антиподов раскрывалась в конкретных и узнаваемых образах.

Трепещет жид над подлым золотом,
Ревет от страха комиссар,
И, озираясь воровато,
Грузин дивится на пожар.

В этом месте Грубер кратко пояснил: «Сталин». Весьма своевременно, поскольку я как раз не понял, кто такой этот «George». Тем временем изложение развивалось по нарастающей, в нем зазвучал пафос священной борьбы.

И возгоревшееся пламя
Не угасить уже вовек,
И, пронося победы знамя,
Идет свободный человек.

«Вероятно, доброволец из туземного батальона», – предположил зондерфюрер. Мальчик тем временем описывал трудности на пути свободных людей и их непреклонную решимость довести начатое дело до конца:

И пусть бандиты озверело
Вонзают в спины нам ножи...

«Это, похоже, о партизанах», – шепнул мне Грубер.

За правое, святое дело
Мы смело бьемся против лжи.

«Против сталинской пропаганды?»

Следующая строфа являлась утверждением исторического оптимизма автора, в несколько тривиальных, но запоминающихся образах.

И нет такой на свете силы,
Чтоб ход времен остановить,
И большевицкие громилы
Не смогут новый день убить.

Про «новый день» Груберу понравилось. В завершающей строфе акценты были расставлены окончательно, тем более что речь шла об исторической памяти, вещи для нации не менее важной, чем вера в счастливое будущее.

И наш народ не позабудет,
Чем был жидовский большевизм,
И вечно павших помнить будет
За истинный социализм.

– Грамотно, – оценил зондерфюрер. Между тем мальчик топнул ножкой в сапоге, что символизировало угрозу большевикам, и выбросил ручку в римском приветствии. Сразу же раздались торжествующие аккорды стоявшего в углу и потому не замеченного мною рояля. Играла фрау Портникова. Перед ней выстроился хор из полутора десятков мальчиков и девочек, прямо скажем, не сплошь русоголовых, но, вероятно, вполне украинских, которые после вступления дружно грянули «Германия, проснись». Грубер, убирая блокнот, покачал головой:

– О таком писать не стоит, шеф не одобрит. Гимн в честь вождя в исполнении маленьких недочеловеков – это несколько чересчур.

Публика так не считала. Раздались аплодисменты. Несмотря на известную агрессивность песни, старательно певшие дети были в своем усердии невероятно трогательны. Фрау Юлия профессионально молотила по клавишам. Давешний мальчик, тот, что читал стихи, выступал теперь в роли тамбурмажора и в конце каждого куплета, с улыбкой встряхивая вихром, наносил оглушительный удар по большому барабану – и это «буммс» звучало музыкой триумфа и всенародного счастья. Но наибольшее впечатление производила возглавлявшая школьный хор трогательная блондиночка, возможно старшеклассница, просто прелесть, лучше вчерашней горничной. Несмотря на молодость и, конечно же, неопытность, она напомнила мне Зорицу – круглым, словно луна, и непорочным лицом в обрамлении мягких и светлых волос – пусть Зорица была брюнеткой и вовсе не я был ее первым, вторым и, возможно, четвертым мужчиной. Голос девочки, ее манера петь не могли оставить равнодушным никого, даже завсегдатая Ла-Скала, каким я отнюдь не являлся. Когда она соло выводила зачин очередной строфы, он звучал как песня любви, – был ли то призыв не допускать в империю еврейских чужаков или странное в нежных устах заявление о принадлежности их обладательницы к бойцам НСДАП.

В первом ряду толстый партиец в коричневом кителе взметнулся с места и, размахивая руками, принялся изображать дирижера. Другие громко хлопали. Особенно старались местные уроженцы в пиджаках и деревенских сорочках. Поглядев на толстяка, Грубер заметил: не стоило так напиваться с утра. Я предположил, что он не отошел после вчерашнего. Грубер спорить не стал.

Дальнейшая программа была менее воинственной. Мы смогли полюбоваться народными плясками, выслушать несколько лирических песен и стихотворений немецких романтиков. Гвоздем программы была всё та же девушка, носившая красивое имя Оксана Пахоменко. По окончании мероприятия офицеры обступили именно ее. Мы с Грубером направились туда же, само собою, без малейшей задней мысли, но, к величайшей моей досаде, директор школы перехватил нас на половине пути и подвел к худому, длинному и давно не молодому человеку в очках. Что интересно – также облаченному в крестьянскую сорочку, служившую здесь, похоже, элементом униформы. Он был представлен как учитель словесности Михайло Кобыльничкий, автор стихотворения, прочитанного в начале концерта. Я счел необходимым выразить восхищение, в надежде поскорее отделаться от поэта и обратиться до юной Оксаны. Мое высказывание было витиеватым, но в стенах гимназии уместным.

– Ваши прекрасные стихи заставили меня лишний раз убедиться в том, что украинский язык по благозвучию не уступает итальянскому, а возможно, и превосходит его. Жаль, что он так мало изучается за пределами вашей невыразимо чудесной родины. Полагаю, что со временем, с победой сил объединенной Европы над большевизмом, он станет одним из основных языков, преподаваемых в школах Апеннинского полуострова.

Мне показалось, он смутился. Грубер не замедлил внести ясность.

– Прошу прощения, Флавио, но эти, вне всякого сомнения, прекрасные стихи были прочитаны по-русски.

Честно говоря, я несколько не удивился. С Зорицей мы иногда занимались и языком. Но всё же изобразил озадаченность.

– Да?

Оказавшаяся рядом фрау Юлия поспешила на помощь покрасневшему как рак стихотворцу.

– Видите ли, господин Росси, – сказала она, слегка запинаясь, – не все учителя нашей школы успели овладеть основами украинского... э-э... стихосложения. Столетия царизма и двадцать лет жидо-большевистской диктатуры оставили зловещие следы. Но смею вас заверить – это временное явление.

– Интересно, – заметил я, вытаскивая блокнот.

– Но, пожалуй, не для печати, – ухмыльнулся зондерфюрер.

Не задержавшись на обед (когда всех пригласили в столовую, Грубер незаметно повертел головой), мы вышли из школы на улицу, гораздо более оживленную, чем утром. Музыка из репродукторов гремела по-прежнему, но мостовую заполнили толпы людей, как солдат, так и местных жителей. Некоторые были нарядны и веселы. Не все, но не могут же все быть в одинаковом настроении.

Плюхнувшись на сиденье, я задал Груберу вопрос. Отчасти он был связан с прелестной Оксаной, переговорить с которой мне так и не удалось.

– Вы действительно считаете славян недочеловеками?

Зондерфюрер возмущенно хмыкнул.

– С какой это стати? Я похож на идиота? Но с пропагандистской точки зрения так удобнее. Раззадоривает солдат и успокаивает общество. Одно дело убивать тысячи себе подобных, и совсем другое – тупых и бессмысленных существ, почти животных. Ведь мы народ Канта и Гете, обремененный моральным законом и склонностью к рефлексии. Просто взять и убить нам порою бывает совестно. Надо верить, что это не только необходимо с государственной и военной точки зрения, но и позволительно с точки зрения нравственности. Потому лучше верить, что перед тобой не люди, а... Одним словом, вы понимаете. Правда, мой шеф на самом деле в это верит. Или делает вид. Впрочем, те, с кем мне приходится тут общаться, чаще действительно производят впечатление отбросов. Разве не так?

Я не ответил, и Грубер продолжил:

– То же касается и евреев. Тупой антисемитизм и примитивная юдофобия предназначены для тех, кому приходится заниматься черной работой, решая... проклятый немецкий вопрос. Так легче. Ведь правда, Юрген, не все евреи сволочи? – неожиданно спросил он шофера.

Наш водитель с готовностью кивнул.

– Верно. По мне, среди них есть неплохие ребята. Жалко, что приходится избавляться от всех. Но они ведь сами виноваты, правда?

Я поежился от подобной простоты и подумал, что в чем-то выгодно отличаюсь от попутчиков.

– Кстати, предлагаю перекусить, уже обеденное время, – сказал вдруг Грубер и приказал Юргену остановиться у показавшегося ему уютным кафе. Мы вышли из автомобиля. На крыльце зондерфюрер ненадолго задержался.

– Судя по объявлению, сюда пускают не всех. Но мы, благодарение Богу, не попадаем ни под одну из указанных категорий. Под вторую и третью точно!

Он мрачно ухмыльнулся и ткнул пальцем в табличку у двери заведения. Над непонятной мне кириллической надписью красовалась немецкая: «Hunden, Russen und Ukrainern Eintritt verboten».

– Не слишком ли грубо? – поежился я. – Такое может оттолкнуть от нас людей.

– В самый раз, – ответил зондерфюрер с непонятным раздражением. – Наши должны постоянно помнить, что они здесь выше туземцев. Ну и, соответственно, наоборот. Те, кто нам служит, как правило, не страдают гипертрофированным чувством достоинства. А те, кто страдает, по ресторанам не ходят.

Я кивнул, и зондерфюрер улыбнулся опять. Как и прежде, совсем не весело.

Путешествие с Грубером. Сады и виноградники Флавио Росси

3-8 мая 1942 года

На праздничном ужине, организованном партийными друзьями Грубера, я почти не пил, и спалось мне прекрасно. В субботу мы совершили интересную экскурсию на моторном катере, и после легкого пикника на живописном днепровском острове – с офицерами-пропагандистами, тремя симпатичными официантками из кафе, но безо всяких излишеств – я спал еще лучше. Утром Грубер спросил меня за завтраком:

– Как вам позавчерашний праздник?

Я честно признался, что мне понравилось, и не стал скрывать, кто на меня произвел наибольшее впечатление.

– Помните эту милую старшеклассницу – Оксану Пахоменко?

– О-о, – изумился Грубер, – вы даже запомнили ее фамилию. Что ж, «Пахомен-ко» звучит вполне по-итальянски. Особенно если учесть близость двух языков по степени милозвучности.

Я рассмеялся.

– Однако что вы имеете в виду под словом «старшеклассница»? – спросил неожиданно он.

– Только то, что она старшеклассница. Я бы не дал ей больше семнадцати. Не работает же она в классической гимназии учителем?

– А что вы имеете в виду под словами «классическая гимназия»?

Я начал злиться.

– Под словами «классическая гимназия», уважаемый доктор Грубер, я имею в виду классическую гимназию. В нашем случае – возрожденную классическую гимназию города, в котором мы находимся в настоящее время. Освобожденного от большевистской тирании, если я правильно понял.

Теперь рассмеялся Грубер.

– Право, не стоит так кипятиться, Флавио. Дело в том, что вы не поняли некоторых деталей, а после сами взяли и домыслили. Исключительно *mea culpa*. Я просто не успел объяснить. Дело в том, что ваша Оксана...

– Почему моя?

– Хорошо, хорошо, наша. Так вот, наша прекрасная Оксана Пахоменко, возраст которой мы определили в семнадцать лет, не может быть старшеклассницей. В этом городе нет старшеклассниц. Равно как и старшеклассников.

– То есть как нет? Советы отменили среднее образование?

– При чем тут Советы? Советы тут уж скоро год как ни при чем. Но мы ведь не обязаны восстанавливать среднюю школу. О классической гимназии я и вовсе молчу. Пару месяцев назад тут и вовсе не было никаких школ. Однако потом администрация испугалась, что, если туземцы станут учиться дома, они могут научиться совсем не тому, что им надо на самом деле. И их снова погнали в образовательное, так сказать, учреждение. Четырехлетнее. Большого им не нужно. Четыре года обучения самому необходимому – читать, считать, немного понимать по-немецки. А потом трудиться. Желательно в Германии. Так что скорее всего наша Оксана преподает арифметику или алфавит вместо какого-нибудь учителя – из удравших с большевиками или... А может, она просто чья-то родственница и ее пригласили, чтобы сделать приятное господам офицерам, ну и нам, разумеется, с вами.

– Понятно, – ответил я, отпивая из чашки кофе. (Надо сказать, не особенно качественный. Не потому ли, что русские купцы предпочитали чай, бояре – шампанское, казаки – водку,

а комиссары – чистый спирт – и, как следствие, традиция варки кофе в этой стране не сложилась?)

– Вы, Флавио, я вижу, романтик. Впрочем, тут всё же имеется школа, где учатся целых семь лет. Но это для немцев. Местных немцев, которых не перебили и не депортировали большевики. Для русских подобное – непозволительная роскошь. Правда, наши шутники зачем-то открыли здесь университет. Если хотите, я могу свозить вас туда и даже познакомить с парой ученых мужей. Дядюшка Розенберг любит такие штуки. Он ведь и сам большой интеллектуал. В отличие от моего шефа.

– Кстати, кто у вас шеф? Вы так часто его поминаете.

Грубер неопределенно махнул рукой.

– Возможно, вы заметили, что компетенции в рейхе чрезвычайно запутаны, порой и сам не знаешь толком, кто в самом деле твой начальник. Но не Розенберг. Хотя, черт его знает, может, с какого-то боку и он. Однако вернемся к нашим мутонам. Я ведь не зря вам напомнил о школе. Сегодня в одном из парков состоится так называемый воскресник, и госпожа Портникова предложила нам посетить это историческое действо. Вы сможете сделать неплохой фоторепортаж о радости созидательного труда в освобожденной Украине. Не исключено, что там будет и Оксана Пахоменко.

– Клаус! – взмолился я. Он хихикнул и удалился в свой номер.

* * *

В парке звучала музыка. Как водится, из репродукторов. Собственно, назвать эту местность парком означало бы забежать в весьма отдаленное будущее. Парк предстояло создать, посадив на пространстве, засыпанном свежей землей, разнообразные деревья и кустарники. Чем и занимались тут сотни горожан, как детей, так и взрослых, под присмотром туземной полиции.

– Обратите внимание, – заметил зондерфюрер, когда мы покинули его «Мерседес», – не все полицейские русские, то есть, разумеется, украинцы. Вот те два – латыши, а вон тот – так и вовсе калмык, друг степей. – Последние два слова он произнес по-русски, я понял из них лишь одно, а именно «друг». Его употребляла Зорица, имея в виду не кочевников, а нечто, более склонное к пребыванию в одном и том же месте. – Так что можете записать – все народы Европы и Азии объединились в священной борьбе во имя...

Нам быстро удалось отыскать фрау Портникову, умело руководившую педагогическим коллективом и учениками своей четырехлетней школы. Неподалеку находился грузовик с отброшенными бортами, с которого господин Кобыльницкий и двое других учителей осторожно спускали вниз довольно крупные саженцы. В этом отношении школе повезло – прочим adeptам безвозмездного труда приходилось таскать деревья издалека.

Из других знакомых мне лиц я обнаружил там мальчика с вихром и, что было приятно, Оксану. И вновь она была ужасно трогательна – в платочке, повязанном на тот же манер, что у девочки на оккупационной банкноте в пять карбованцев. Из-под светлой ткани выбивались пушистые волосы, слегка чумазое личико смотрелось еще более милым, чем прежде, а застывшая в глазах печаль лишь подчеркивала молодость и свежесть. Не будучи охотником до девичьих тайн, я не стал выяснять причин ее грусти, зато помог ей посадить деревце, не без удовольствия ощутив мимолетное и совершенно случайное касание маленькой крепкой ладошки. Грубер, воспользовавшись моим аппаратом, несколько раз снял нас двоих в разных ракурсах. Я предложил коллеге последовать моему примеру, был горячо поддержан фрау Портниковой и взялся за аппарат. Всего я сделал полтора десятка снимков – Грубера с Портниковой, Портникову отдельно, Оксану в фас, Оксану в профиль, детей с Грубером, детей без Грубера, кол-

лектив в целом и несколько панорам. Портникова сияла, как новехонькая лира. Перспектива появления ее портрета в итальянской газете радовала ее до чрезвычайности.

– Пусть весь мир узнает о нашей прекрасной и юной стране! – восторженно заявила она.

– Весь мир не гарантирую, но Милан узнает точно, – пообещал я, твердо решив, что меня с Оксаной Пахоменко Милан увидит непременно. И пусть кретин Тедески, Тарди и Елена думают что хотят.

Мой диалог с Портниковой привлек внимание тощего господина в пенсне, явно относившегося к породе тех, кого зовут городскими сумасшедшими. Он смело направился к нам, остановился перед фрау и мной, поучительно поднял палец и произнес на довольно приличном немецком:

– Считаю своим долгом заявить, мадам, что, хотя мы молодая нация, мы отнюдь не молодая страна. Известно ли нашему немецкому другу...

– Итальянскому, – поправила Портникова.

– Известно ли нашему итальянскому другу, – не смутившись, продолжил он, – что древняя Украина существовала уже в девятом столетии от Рождества Христова и ее правители прибивали свой щит к воротам Константинополя?

Я напрягся, что-то смутно припомнил, но не был вполне уверен, то ли это самое, что имел в виду вцепившийся в меня старик.

– А известно ли вам, милостивый государь, – не унимался тот, – что древние украинцы напрямую восходят к носителям арийских культур Причерноморья и Поднепровья и что среди наших предков суть такие индогерманские народы, как готы, сарматы и скифы, не говоря о славянах, как всем известно, тоже арийцах?

Обескураженный его натиском, я оглянулся в поисках Грубера. Тот не стал церемониться с надоедливый типом.

– То, о чем говорит этот господин, Флавио, относится к истории древней России, так называемой Руси.

Старичок не смутился. Его не напугал даже офицерский мундир.

– Да, господин майор, это истинно так! Мы назывались и Русью. Но потом имя Руси у нас похитила монголо-туранская Московия. Царь Петр купил его по сходной цене у польского короля Августа Сильного в 1707 году во время свидания в Жолкве. Но мы не жалеем об этом. «Украина» нам нравится больше, в конце концов, теперь есть надежда, что нас перестанут путать с турками-московитами, незаконно именующими себя русскими.

– Ну... если так, – пробормотал слегка опешивший Грубер и отодвинулся в сторону, предпочтя нашей дискуссии мирное общение с госпожой Портниковой и Оксаной Пахоменко. Непреклонный же старец вцепился в меня. Ему хотелось завершить выступление эффектной концовкой.

– А известно ли вам, что означает слово «Украина»? – провозгласил он, поблескивая стеклами пенсне. – «Область, земля, страна». А вовсе не «окраина»!

Я не понял его пафоса, но в собственных глазах он, похоже, преуспел. Во всяком случае, выкрикнув последнюю фразу, победительно взмахнул лопатой, после чего отошел и яростно принялся вскапывать землю. Грубер покачал головой.

– Каков типаж! Здешний народ необыкновенно увлечен историей. Заметили?

– Да, это бросается в глаза.

В глаза мне бросилось и кое-что другое. Когда мы, оставив школьников и учителей, двинулись дальше, я обратил внимание, что некоторые из занятых саженцами людей были необыкновенно бледны. Физический труд на свежем воздухе отчего-то не шел им на пользу. Одной женщине, уже немолодой, и вовсе стало дурно, и она, посерев лицом, медленно опустилась на землю. Глаза ее были закрыты, а рот, напротив, открылся – то ль от нехватки воздуха, то ли в беззвучном плаче. Я на всякий случай задержался рядом и услышал, как подошедший к жен-

щине полицейский прокричал – я не понял что, но звучало это следующим образом: «Копать, сука, копать! Или тоже туда захотела?»

Грубер был занят своими мыслями. Я не стал обращать его внимание на странные обстоятельства. Вскоре нас нагнал Юрген и сообщил, что мы приглашены на обед инженером Кребсом, специалистом по оформлению ландшафтов, который заведовал работами по озеленению участка. Он был давним знакомым Грубера.

* * *

Мы еще несколько дней оставались в городе на Днепре, выезжали в окрестности, возвращались назад, посещали предприятия, но чаще бывали в войсках. Чувствовалось скорое возобновление активных военных действий, неясно было только, кто ударит первым – немцы или русские. В четверг Грубер исполнил свое обещание и повел меня в университет, в стенах которого должно было состояться мероприятие, носившее название «Областное собрание работников умственного труда».

Мы заболтались за завтраком и слегка опоздали, поэтому по университетскому коридору перемещались почти бегом. В просторном лекционном зале, наполненном едва на одну восьмую, нас встретил вездесущий «Гитлер – освободитель», висевший над огромной черной доской. К стоявшему на возвышении длинному столу, за которым восседал президиум, была пристроена лекторская кафедра. Она была занята представителем местной интеллигенции, читавшим доклад о значении слова «Украина». Я узнал воскресного сумасшедшего.

– Простите, Флавио, – шепнул мне Грубер, – но я не буду переводить этот бред. Я славист, а то, что он несет, противоречит всему, что положено знать слависту. Похоже, этот тип нигде не учился. К тому же с основными положениями вы знакомы.

– Если бы я еще понимал, что всё это значит...

– Только то, что он осёл.

Суровая оценка Грубером умственных способностей докладчика не вызвала у меня возражений. Чтобы не скучать, я принялся вертеть головой, всматриваясь в лица представителей местной интеллектуальной элиты. Лица были заурядными. И одежда вполне приличной – пиджаки, галстуки, почти ни одной крестьянской сорочки.

После пары других докладов – о приднепровских казаках как санитарном кордоне Европы и о роли какого-то галицийского фольклориста в пробуждении украинской нации – Грубер покинул меня и направился к кафедре. Оказывается, в программе значился его доклад, точнее целая лекция. Он прочитал ее по-немецки, поминутно поворачиваясь к географической карте. Речь шла о международном положении. Это было занятно, хотя некоторые высказывания звучали неожиданно.

– Будущее объединенной Европы, – говорил он, почему-то улыбаясь, – зависит от нас, и только от нас. Нас всех – немцев, итальянцев, испанцев, французов, финнов, хорватов и... – небольшая пауза, – украинцев. Это потребует жертв, но жертвы не будут напрасны. Вознаграждением за них станет процветание вашей спасенной от большевизма и московского империализма родины. Но мы спасем ее не только от Московии. Не менее опасен империализм Северо-Американских Соединенных Штатов. Доподлинно известно, что еврейскими воротилами Нью-Йорка уже запланировано расчленение бывшего Советского Союза, иными словами – России и Украины. Эти территории будут разбиты на множество псевдонациональных марионеточных государств, подвергнутся колонизации, в которой примут участие негры и американские монополии. Если мы проиграем, черные придут в ваш дом и станут его хозяевами. Дальнейший этап – реставрация капитализма в наиболее уродливых формах.

Аргументация Грубера показалась мне непоследовательной и необидительной, настолько разнородными были основные тезисы. Однако туземцы считали иначе. Они переглядывались, перешептывались, кивали головами. Некоторые кое-что записывали.

Когда Грубер окончил, посыпались вопросы. Поскольку мой переводчик находился на кафедре, я понимал лишь те, что задавались по-немецки. Так, длинноволосый тип, читавший доклад о фольклористе и представившийся доктором украинской филологии Ярославом Луцаком, спросил о полуострове Крым – скоро ли тот будет реально присоединен к рейхскомиссариату Украина?

– Вряд ли, – твердо ответил Грубер, – на этот счет существуют иные планы, поскольку Крым исконно германская земля. Вспомните древних готы.

Ответ зондерфюрера не удовлетворил Луцака. Он обиженно скривил лицо – и тут же подвергся нападению с другой стороны. Раздался громкий смех, выкрик: «Что, получили, милейший?» – и с места вскочил бородатый старик в старомодном, двадцатилетней давности, пиджаке. Вспыхнула перебранка, в которой часть зала была на стороне старика-профессора (звали его Ненароков), тогда как другие поддерживали Луцака. Горячий диспут продолжился на местном наречии. Я не мог понять, о чем они спорили, и безмерно об этом жалею – накал страстей позволял предположить нечто в высшей степени увлекательное.

То, чего не мог понять Флавио Росси

А говорили они вот о чем – крича, жестикулируя и самозабвенно ненавидя друг друга. Сначала вскочивший с места профессор Ненароков выпалил по-немецки:

– Что, получили, милейший?

Продолжил он, однако, по-русски:

– И вообще, господин Луцак, не нужно вводить в заблуждение дорогих гостей. По-нашему, никакой вы не доктор, а всего лишь магистр. Доктор это я! Настоящий, не галицийский.

В этом месте раздался одобрительный смех той половины зала, что поддерживала Ненарокова.

– Доктор? – свирепо передразнил его Луцак. – Жалкий профессориска, получивший свое звание от царского режима!

– Я представитель русской науки. Я получил свое звание в университете святого Владимира. Я четыре десятилетия трудился на ниве народного просвещения. Я был общественным деятелем нашего края. Мои сыновья сражались в русской армии против большевизма. Меня лично знал генерал Бредов. А вот вы тут – никто!

Ответ доктора Луцака, будучи слабо связан с высказыванием оппонента, ответом, по существу, не являлся. Такого рода реплики вообще были характерной чертой его полемического стиля, и оставалось лишь гадать, где он этому научился.

– Украинское крестьянство дважды изгоняло большевиков из Украины, в то время как ваши «русские армии» отсиживались в Крыму!

Ненароков отреагировал моментально, слышать алогичные доводы Луцака ему было не впервой.

– А какое отношение вы имеете к этому крестьянству? И где отсиживались тогда вы? В своей сраной Галиции? И позвольте заметить...

– Нет, не позволю! – перебил его Луцак. – И я вам не хо-хол! Прошу представителей германского командования обратить внимание на подобные высказывания подобных, с позволения, личностей! Личностей, которые в своем узком кругу смеют поднимать вопрос об использовании в школьном и высшем образовании московского языка, подвергая таким образом сомнению итоги украинской национальной революции и действия германских властей!

– Нечего тут клеветать на малороссийский народ, – прокричал в ответ Ненароков. – Не было у нас никакой национальной революции. Была петлюровщина, махновщина, а потом большевистская украинизация! И заметьте, господа, этот галичанин, ко всему, еще доносчик! Но я знаю, доктор Грубер не из тех людей, что стали бы прислушиваться к гнусным инсинуациям этого... господина.

Не обращая внимания на Ненарокова, Луцак продолжал излагать свое видение истории последних десятилетий.

– Местью большевистского режима стал искусственный голод в Украине, явившийся геноцидом станового хребта украинской нации – украинского крестьянства...

Ненароков, который, в отличие от Луцака, слышал не только себя, окончательно рассвирепел.

– Геноцид русского крестьянства, сопротивлявшегося большевистской украинизации!

– Московский наймит! – заклеил его Луцак.

– Дурак, болван, осел, невежда! Такой, как вы, мог защитить магистерскую диссертацию во Львове только на украинской кафедре или в каком-нибудь тайном «университете», ни на одну приличную кафедру в настоящем университете вас бы попросту не пустили!

– Докторскую! – взвыл Луцак. – И что вы называете «приличными кафедрами»? Польские? Что такое «настоящий университет»? Прошу господина Грубера обратить внимание...

Ненароков смерил его презрительным взглядом.

– Я же говорил, жалкий доносчик. Но наше различие, милостивый государь, не только в этом. В отличие от вас, я потомок запорожских казаков и нахожусь у себя дома. Это мой город, пусть ему до сих пор не возвращено историческое название и он носит имя большевика и украинизатора.

На сей раз он был услышан.

– Так вот вы чего захотели! – со злорадством расхохотался Луцак. – Мечтаете о возвращении царизма? Черта вам лысого! Никогда больше украинские города не будут называться именами царей и царских сатрапов. Господин Грубер дал нам ясно понять, что реставрации Германия не допустит. Ведь, правда, господин Грубер?

Когда Луцак произнес свою последнюю, обращенную к Груберу фразу, тот неопределенно пожевал губами. То ли ему не хотелось поощрять Луцака, то ли он не желал обижать Ненарокова. Профессор же, видно, решил, что Грубер на его стороне. Когда заседание кончилось, он поспешил ко мне и Груберу и, подойдя почти вплотную, доверительно заговорил по-немецки:

– Ваш доклад был, конечно же, интересен. Но я хочу подчеркнуть, что настала пора сделать решительный акцент на деле возрождения русского народа. Сейчас мы раздроблены и задавлены последышами большевистских украинизаторов, которым ненавистно само имя моей многострадальной родины. Настоящая русская интеллигенция выбита, эмигрировала, запугана или измучена борьбой за существование. Единственной силой, которая может содействовать возрождению России, осталась русская православная церковь. Германии следует иметь это в виду. – В этом месте профессор печально вздохнул. – Однако мне кажется иногда, что Германии нет никакого дела до возрождения нашей страны.

Зондерфюрер поспешил заверить, что дело у Германии есть до всего, и мы тепло попрощались. Ободренный профессор поспешил с благой вестью к кучке единомышленников, столпившихся возле карты, отражавшей новое территориальное устройство континента. И тут же рядом появился Луцак. Обдав нас легким запахом дешевого одеколona (я поспешно отодвинулся), он заговорил с нами очень мягким и вкрадчивым голосом, произнося слова немного нараспев. Немецкий, не столь правильный, как у Ненарокова, звучал в его устах гораздо естественнее, а выговор напоминал один из южных диалектов – баварский, австрийский, богемский – короче, что-то в этом роде, я не специалист в германской филологии.

– Великолепно, просто великолепно, уважаемый коллега. Тема раскрыта, выводы сделаны...

«Знаки препинания расставлены», – подумал я.

От похвал Ярослав Луцак перешел к сути дела, заочно продолжив свой спор с Ненароковым и беспощадно того разгромив, – не переставая при этом вопросительно поглядывать то на Грубера, то на меня и спрашивать: «Ведь верно, господа? Вы со мной согласны?» Грубер терпеливо выслушал его до конца, после чего мстительно поведал Луцаку о казусе, случившемся в школе, а именно о моей промашке со стихами господина Кобыльницкого. Луцак, как ни странно, пришел в восторг.

– Замечательно, просто замечательно, – пропел он, по-кошачьи прикрыв глаза от удовольствия и проведя рукой по длинным волосам. – Это подтверждает мою гипотезу.

– Какую? – спросили мы с Грубером почти синхронно, и Луцак поделился с нами открытием.

– Я филолог. Так вот, наблюдая последние девять месяцев языковое развитие нашего региона, я пришел к заключению, что использование одного и того же языка совсем не обязательно является фактором интеграции. Один и тот же язык в определенных условиях вполне может разделять две нации, особенно столь непохожие в психологическом и расовом отношении, как мы и москвиты. Да, большинство жителей этого насквозь русифицированного города по-прежнему говорит по-московски. Но! Я вижу, что сейчас, впервые в своей истории, этот язык в отдельных случаях может звучать как язык свободы, частично опровергая представление о себе как об инструменте тупой унификации и государственного угнетения. В нем появляются новые слова, новая фразеология, даже новые грамматические формы. И наконец – новые образы и принципиально новая поэтика, совершенно не похожая на традиционно московскую! Ваш пример – прекрасное тому подтверждение. Надо будет обязательно познакомиться с господином Кобыльницким и опубликовать его стихотворение в моей статье, которую я готовлю для сборника научного общества.

– Действительно, интересный вывод, – согласился Грубер с озадаченным видом. – Я бы даже сказал, целая и весьма плодотворная теория.

– Именно так. Перед нами явление интралингвальной дивергенции, детерминированной дифференциацией политикумов, – радостно возгласил Луцак. И скромно добавил: – Термин мой.

Наименование впечатляло. В особенности звучный и как бы греко-латинский «политикум».

– Думаю, однако, – прищурился глазики, уточнил украинский филолог, – мы не должны почивать на лаврах. Без твердой и последовательной политики в языковом вопросе обойтись невозможно. Нельзя обольщаться частным успехом. Господство украинского языка во всех сферах следует обеспечивать последовательно и непреклонно. Позитивная дискриминация, состоящая во всесторонней поддержке сознательных украинских элементов, помогает решить проблему, однако лишь отчасти. Наступает пора переходить к дискриминации негативной, направленной на окончательное вытеснение московского языка из всех сфер общественного бытия – иначе господин Кобыльницкий, хе-хе, так и не освоит основ украинского стихосложения. Следующим шагом, а может, и предшествующим, должно быть элиминирование промосковски настроенных элементов... Совершенно однозначно, что ограничиваться евреями и явными большевиками нельзя. Кстати, обратите внимание – этот псевдопрофессор Ненароков поставил под сомнение мое право называться доктором, и если вдуматься, не только мое, но и... многих выдающихся ученых Великогерманской империи. Для этого обломка старого мира мы всего лишь магистры. И вообще мне кажется, что германские власти еще не вполне оценили ту огромную пользу, которую может принести им украинское национальное возрождение. Вы должны помочь донести до самых высоких верхов правду о вековых чаяниях нашего народа.

– Обязательно помогу, дорогой коллега! – заверил его Грубер и начал поворачиваться к выходу из аудитории.

– И еще, – вцепился в него Луцак, – надо обратить особое внимание на укомплектование образовательных учреждений южных и восточных областей педагогическими кадрами. Было бы очень хорошо направлять сюда учителей и специалистов из... западного региона, сознательных сотрудников. Положение в Одессе, – было видно, как Грубер скривился, – Николаеве, Херсоне, Харькове, Донецком бассейне, – чем более затягивалось перечисление, тем более тоскливым становился у Грубера взгляд, – еще более катастрофично, чем здесь. И несмотря ни на что, нужно заниматься украинизацией Крыма. Независимо от его дальнейшей судьбы. Развивая национальное сознание тамошних украинцев, а они, увы, глубоко несознательны, Великогермания обретет там в будущем самую надежную опору.

– Хорошо, хорошо, – в панике проговорил Грубер. – Составьте записку для министерства восточных территорий, ее непременно рассмотрят. А теперь прощайте. Дела, дела, дела.

– О, я понимаю! Впереди непаханая целина, – и Луцак по очереди потряс нам руки. Ладони его были влажными и неприятно мягкими – как, впрочем, и он сам, мягкий, плавный, словно бы лишенный скелета и мускулатуры – или чего другого, тоже из области анатомии.

Когда мы шли по коридору, Грубер дал наконец волю чувствам, яростно и совершенно не интеллигентно вытирая правую кисть о штаны.

– Эти болваны упорно делают вид, будто нам больше нечем заняться, как кроить для них независимую Украину. Между тем им ясно было сказано, еще в прошлом году: речь идет лишь о рейхскомиссариате с таким названием. И то, что генеральный округ Таврия, иначе говоря Крым, считается относящимся к нему, ничего для них не меняет. Какая, к черту, Украина, когда Восточную Галицию, откуда большевики в свое время выписали этого ученого козопаса, мы включили в генерал-губернаторство, а территорию за Днестром отдали румынам? «Положение в Одессе, Херсоне, Николаеве катастрофическое», – зло изобразил он Луцака. – Но из тактических соображений приходится талдычить им о вольной Украине, освобожденной России и прочей ерунде. Порой в одном и том же месте сразу, что вы могли наблюдать сегодня собственными глазами. Разумеется, сейчас оно даже полезно. Мы ведь делаем вид, что считаем их людьми. А они делают вид, что считают нас друзьями. Правда, наше храброе воинство быстро ставит всё на свои места, так сказать, рассеивает иллюзии. И тогда руководство снова посылает доброго доктора Грубера – успокоить и разъяснить. Если бы вы знали, как мне это осточертело! Когда я вижу пана Луцака, моя рука тянется к пистолету. Да и Ненароков хорош. Возрождение русской нации... Мог бы поумнеть за девять месяцев, всё же немалый срок, из сперматозоида человек получается.

– Да, безусловно, – пробормотал я, вспоминая наших собеседников. Пламенный Ненароков, пожалуй, выглядел симпатичнее скользкого Луцака, но и он меня чем-то отталкивал. Я не мог понять чем, но это было так.

* * *

Потом мы посетили военный госпиталь и городскую гражданскую больницу. В госпитале я взял ряд интервью у раненых и выздоравливающих солдат, а в больнице мое внимание привлекли плакаты, пропагандирующие легкие и быстрые аборты.

– Наследие большевизма? – спросил я у сопровождавшего нас доктора из местных немцев.

– Не совсем. В военных условиях очень трудно прокормить массу новорождённых, и мы идем навстречу матерям. Такова директива, полученная из Берлина. Впрочем, дело не только в войне. Необходимо думать о корректировке этнического состава этой будущей житницы рейха. Вы же понимаете... Предоставленные самим себе русские плодятся как кролики, их не останав-

ливаает ничто. Бесчеловечный народ, которому ни о чем самые бесчеловечные условия существования. У них даже есть поговорка: «От того, что идет на пользу русскому, немец всенепременно умрет».

Вечером мы ужинали в гостиничном ресторане, опять с инженером Кребсом. Пришедшего в гостиницу Луцака в ресторан, по счастью, не пустили (поразившее меня в первый день ограничение в данном случае спасло нас от малоприятного общества). Но филолог сумел передать небольшой подарок для меня и для Грубера – три килограмма лососевой икры.

– Рискованный человек, – сказал Грубер, разглядывая банку. – За такое по нынешним временам можно серьезно поплатиться.

Но икра была великолепна, и на следующее утро, 8 мая, мы с удовольствием ею намазывали наши бутерброды. Предстояло принять окончательное решение – ехать ли дальше или еще на пару дней остаться в городе на Днепре. Я склонялся ко второму варианту. На воскресенье приходился День матери, госпожа Портникова вновь приглашала нас в школу. Грубер отказался без раздумий, а я пообещал, если не уеду, заглянуть. Мне хотелось еще раз увидеть Оксану, сам не знаю почему и зачем. Пригласить в кино? Или прямо в номер? Взять интервью для миланской газеты? «Молодежь свободной Украины радостно приветствует родину фашизма». Горничные в гостинице меня не привлекали. Та, первая, по-прежнему рвалась проявить благодарность, но что-то мешало мне воспользоваться ее расположением. Передо мной постоянно возникала Зорица, да и уверенности, что все проезжие офицеры используют презервативы, у меня, к сожалению, не было.

Но уехать пришлось, и уехать срочно. Новость, о которой стало известно к обеду, заставила позабыть обо всем – Зорице, горничной, Елене, Оксане. Одиннадцатая германская армия перешла в наступление на Керченском полуострове.

* * *

Быстро собравшись, мы уселись в «Мерседес» и спустя некоторое время были на шоссе, по которому в том же направлении, что и мы, двигалась военная техника.

– Надо решить, как лучше въехать в Крым, – говорил Грубер, показывая мне карту. – Как мы планировали с самого начала, то есть через Перекоп, или же попробовать сократить путь и воспользоваться мостом через Сиваш.

– Вам виднее.

– Попробуем через Сиваш. Не самый надежный путь – на Азовском море хватает русских кораблей, мост могут запросто повредить. Но зато, если всё получится, сразу же окажемся на месте событий.

– А если русские перейдут в контрнаступление и захватят переправу?

– Я тоже этого опасуюсь. Но кто не рискует... В любом случае будем узнавать по дороге новости и, если что, изменим маршрут.

К вечеру стало ясно, что дела на фронте идут наилучшим образом. Оборона русских провалена, их южный фланг совершенно разгромлен. Но наше продвижение от этого не ускорилось. Нас постоянно останавливали, долго проверяли документы, косились на меня, задавали идиотские вопросы. Разогнаться на забитой войсками дороге было просто невозможно. В придачу ближе к вечеру разразился сильный дождь, и шоссе оказалось почти непроезжим («Дураки и дороги», – зло пробормотал по-русски Грубер; я не стал интересоваться, что он имеет в виду). В одном небольшом городке мы чуть не застряли окончательно, и лишь незаурядные водительские навыки Юргена позволяли время от времени сокращать расстояние между нами и Крымом то на метр, а то на целых десять.

– Жаль, конечно, – констатировал Грубер, – но ничего не поделаешь. Меня подвела интуиция, и теперь мы расплачиваемся. Однако главное в нашем деле – не нервничать и сохранять

спокойствие. А потому предлагаю выпить коньяку и поговорить о чем-нибудь занятом. Что бы вы хотели узнать, Флавио? Я вновь в вашем полном распоряжении.

Я подумал и спросил:

– Правда ли, что все украинцы смертельно ненавидят русских? Как этот Луцак?

– Чушь, – отрезал Грубер. – Вы вообще-то замечаете разницу между ними? Лично я – нет, по крайней мере здесь, на Днепре. Вспомните этого туземного архипиита – он же просто не знает языка, который называет родным. Да и не в языке тут дело. Это куда более сложная материя, не зря Луцак так напирал на сознание.

– Но столетия царской и большевистской русификации...

– Угу. С тем же успехом можно говорить о германизации Баварии и Гольштейна или италянизации Неаполя. Сказки для дураков. А при большевиках у них, коль на то пошло, была украинизация, та самая, о которой вопил дурачок Ненароков. И что это нам дало? Большинство всё равно ненавидит нас. А заодно и желто-голубых.

– Голубых? – спросил я с интересом.

– Желто-голубых. Это наши местные союзники. Они, вы слышали этот термин от Луцака, называют себя «сознательными украинцами». Это как у большевиков – есть сознательные пролетарии, готовые резать буржуазию во имя черт знает чего, а есть прочая масса, которой до пролетарской революции нет никакого дела. Так и тут – активное меньшинство, которое мечтает отделиться от Москвы и прибрать к своим рукам пространство от Карпат и до Кавказа, а рядом – инертная масса, упорно не желающая к ним прислушиваться. Но желто-голубые свято верят в свою миссию. Они и тот же Луцак считают, что у этой массы надо лишь развить правильное сознание, ну а тех, у кого оно не разовьется, объявить предателями нации. В целом подход вполне здравый. Но не очень реалистичный.

– Идеалисты?

– Ага. Их идеализм хорош в специальных акциях – против поляков, евреев и партизан. Однако самого главного идеалиста по имени Бандера на всякий случай пришлось поместить в концлагерь, чтоб не путался под ногами со своим идеализмом. Вы не представляете, но во Львове в июне сорок первого приходилось сдергивать желто-голубые флажки, которые эти идеалисты, устроив маленькую, но весьма приятную для себя резню, понавывешивали там на радостях. Черт, что у них там?

Опустив окно и высунув головы под лившие с неба струи, мы убедились, что наша машина намертво застряла в грязи, прямо посреди городской площади. Чертыхаясь, мы с Грубером вылезли наружу и, ежась от заливавшей под воротник холодной воды, попытались подтолкнуть машину. Юрген отчаянно жал на газ. Убедившись в тщетности наших совместных усилий, он выскочил наружу и, пригибаясь, подбежал к нескольким солдатам, которые прятались под навесом, напоминая о существовавшей здесь прежде автобусной станции. Не знаю, что он про нас им сказал, но те моментально взяли за дело, начав выносить из соседнего, казенного вида здания связки разноцветных книг и швырять их под колеса.

– Что они делают? – озадаченно спросил я Грубера, хотя цель книгометания в целом была понятна.

– Хотят нам помочь. Надо же куда-то девать макулатуру из местной библиотеки.

– Но это же...

– Скажете, варварство? Наверняка какой-нибудь марксистский хлам. А если и не марксистский, тоже не велика потеря для европейской, так сказать, культуры.

Русская словесность не помогла. Мы сдвинулись с места, но вскоре застряли в другом, потом в третьем.

– Тут никаких библиотек не напасешься, – заметил Грубер в конце концов. Он был готов к капитуляции, я тем более. Не говоря о Юргене, который был просто измочален борьбой со стихиями, к числу которых, как выяснилось, относятся и русские дороги. Теряя контроль

над собой, он уже несколько раз произносил слова, совершенно невозможные в присутствии начальства при иных обстоятельствах.

На выезде из города утопавшая в грязи трасса была забита двумя встречными транспортными потоками. С диким ором носилась дорожная полиция, какой-то полковник в непромокаемом плаще грозился всех расстрелять и повесить. Дождь хлестал не переставая, смеркалось, и мы сочли за благо прервать путешествие. Свернув на боковую улицу, Юрген не без труда, но всё ж относительно быстро добрался до местной комендатуры. Комендант оказался милейшим человеком и устроил нас в уютной квартирке, где обитали трое испуганных русских, мать, сын и дочь, а также двое немецких офицеров. Грубер сообщил, что проживание вместе с туземцами запрещено, но соблюдать все инструкции возможным не представлялось.

За ужином я снова вспомнил про книги в грязи, благо офицеры были на службе, Юрген спал, а хозяйка притаились в оставленной им комнатенке.

– Вы славист, а так презираете русских и прочих славян.

– Презираю? – переспросил Грубер, успевший взбодриться хорошей порцией коньяка. – Сказано сильно. Нет, я просто хорошо их знаю. Что же до моей ученой степени, то нам, специалистам по славянам, еще предстоит сыграть свою роль в уничтожении этой насквозь пропитанной злом империи, – последние несколько слов прозвучали как цитата, – которая прежде называлась Россией, а ныне Советским Союзом. Выпейте коньяку, вы продрогли. Русскими ограничиться не удастся – правда, я чем-то напоминаю сейчас Луцака? Мой шеф, кстати, считает, что ваши в бывшей Югославии излишне либеральничают с сербами, мешают зачем-то хорватским идеалистам навсегда избавить Балканы от этой нации убийц.

– Но ведь наши хорватские союзники творят там такое...

– Этому надо радоваться, милый Флавио, разве вас не учили? – сказал он, криво усмехнувшись. – Мои соотечественники, скажем, и не подумают спасти поляков от желто-голубых, если дело дойдет до резни. Пусть потешатся. Хотя с другой стороны, и наши хороши – зачем-то церемонятся с чехами, надеясь их привести к общему великогерманскому знаменателю. Мой шеф считает, что зря. Чехи, по его мнению, лишь на вид безобидный народец, при случае они покажут зубы. Нет, я не идеалист, Флавио, отнюдь не идеалист. Имперский министр восточных территорий свято верит, что можно воспользоваться Украиной против России, воспитать из здешнего населения украинцев, которые станут нашим оплотом на Востоке. Я не верю. Мой шеф тем более. Русский всегда останется русским, если он не последний подонок. Что, разумеется, несколько русских не оправдывает – черт бы их всех побрал с их климатом и скотством.

– Но ведь речь идет о судьбе целых народов. Европейских народов.

– Ага, вы еще о культуре скажите. Не забывайте только, что я славист. Не американский и не английский, а следовательно – знаю, о чем говорю. Это они, даже если до рвоты ненавидят Россию, сочтут своим долгом вспомнить попутно о гении Льва Толстого. Слава Богу – с тридцать третьего мы в Германии можем быть честными до конца. – Он подлил себе коньяка, мне тоже. Осушив стаканчик, проговорил с непонятной иронией и вновь как будто кого-то цитируя: – Для наших вождей это не только беспощадная война за идеалы, это – война непримиримых рас. Русские и прочие славяне занимают слишком много места в Европе, вместе нам не жить. Мы или они. *Tertium non datur*. – Он опять скривился, словно бы извиняясь за школярскую пошлость. – А коммунизм... Хороший предлог. Борьбой с коммунизмом можно оправдывать всё. Я уверен, что, если бы мы сразу начали войну против русских, оставив в покое Польшу и Францию, наши западные друзья отнеслись бы к нам с пониманием. Убить несколько миллионов человек, тем более европейской наружности, с их точки зрения, конечно, грех, но если убедить себя в том, что эти несколько миллионов красные... Начинать пришлось, однако, с Польши, иначе бы немецкий народ нас не понял – что ему Россия? Ведь правда жаль, что в Польше мало коммунистов? Но пора спать, я устал как собака.

Я был рад, невнятные намеки и излияния Грубера быстро меня утомили. Размышлять, в каких местах и над кем он издевается, у меня не осталось сил. И эти никчёмные разговоры о миллионах... Хвастливая гигантомания, в которой немцы превзойдут кого угодно, даже нашего величайшего дуче. Особенно когда напьются и устанут. Я, между прочим, тоже устал. И тоже как собака.

То, чего не узнал Флавио Росси и чего не узнал доктор Грубер

На следующий день, вернее вечер, доктор Ненароков был арестован и через неделю расстрелян. Семья его отправилась в концлагерь и оттуда уже не вышла. Год спустя, во время советского наступления, служба безопасности арестовала в Виннице доктора Луцака. Его обвинили в сомнительных связях и увезли в берлинскую тюрьму. Позднее, когда началось формирование Украинской освободительной армии, доктора выпустили на волю. Однако в немцах Луцак разочаровался. Даже хлебное место в немецком университете имперского города Праги не смирило его непреклонной решимости при первом удобном случае порвать с национальным социализмом и найти себе и украинскому делу иных, более предсказуемых покровителей.

Путешествие с Грубером. Киммерия Флавио Росси

9-17 мая 1942 года

Пробудившись, мы попытались разработать план дальнейших действий. Безуспешно. Дождь продолжался по-прежнему, улучшений, увы, не предвиделось. Грубер, не вполне отойдя от вчерашнего коньяка, был мрачен, я тоже. Лучше всех себя чувствовал Юрген, он никуда не спешил. У меня возникла мысль, не взять ли интервью у хозяев квартиры, но Грубер заявил, что это бесполезно. Либо не скажут ничего, либо скажут лишь то, что может сказать и он. И даже если скажут, о чем действительно думают, – а это абсолютно невозможно! – сказанное окажется непригодным для печати, да еще придется обращаться в службу безопасности.

– Вы думаете, они не рады освобождению от коммунизма?

– Больно уж вид пришибленный. Оставьте их в покое. Если хочется общаться, дайте детям шоколад.

Так я и сделал. Мальчик и девочка, глядя исподлобья, взяли плитки и отнесли их матери.

– Что надо сказать дяде? – сказал та по-русски. Я понял всё, кроме слова «дяде». Те вернулись и хором проговорили:

– Данке шен, херр офицер.

Изобразить радость даже не попытались. Ну и черт с ними, подумалось мне. Я занялся просмотром блокнота, в котором скопилось множество необработанных записей.

После скудного подобия обеда (доставать свои припасы посреди окружавшего нас убожества мы постеснялись) Грубер признал:

– Мысль ехать через Сиваш была не лучшей. Предлагаю вернуться к перекопскому варианту. Отъедем немного на запад и двинемся на юг другой дорогой. Что думаете, Юрген?

– Как скажете, господин зондерфюрер.

По счастью, к обеду дождь вопреки ожиданиям прекратился (точнее, переместился на юг, доставив множество неудобств наступавшим войскам Манштейна) и вновь воссиявшее солнце стремительно высушило вчерашнюю непролазную грязь. Не прощаясь с хозяйкой, мы нырнули в «Мерседес» и возобновили путешествие. Грунтовая дорога, по которой мы ехали, оказалась почти свободна, расстояние в несколько десятков километров, сначала на запад, потом на юг, было преодолено довольно быстро. В какой-то момент Грубер решил, что пора остановиться и поесть по-человечески. Миновал – после предъявления документов – пост дорожной полиции, рядом с которым на отходившем в сторону проселке теснились крытые армейские грузовики, он приказал затормозить, пояснив:

– В степи лучше находиться под охраной. Мало ли что... Когда-то здесь орудовал знаменитый анархист Махно. Знаете про такого?

– Смутно, – ответил я, приврав только самую малость.

– Иными словами, народ здесь склонен к бандитизму. Полиция нам не мешает.

Мы покинули автомобиль и расположились на траве. Юрген вытащил продукты и принялся намазывать на ломтики хлеба масло и подаренную Луцаком икру. Я же вытянулся на выделенной мне Грубером русской плащ-палатке, с наслаждением ощутив, как наполняются жизнью затекшие руки и ноги.

В последние два часа мое настроение существенно улучшилось. Вымытая дождем весенняя степь переливалась изумрудами и лазурью, в самом деле напоминая мне море. Деловито трещали мириады кузнечиков, сияла радугой стрекоза, усевшаяся на клеенчатую скатерть. Сгоревший прошлым летом элеватор напоминал о близости жилья. Равномерно рокотал в отда-

лении пулемет. Когда он замолкал, негромко хлопали одиночные выстрелы – похожие на удар хлыста винтовочные и совсем тихие, видимо пистолетные.

– Там стрельбище? – спросил я Грубера. Зондерфюрер прислушался, лицо его болезненно скривилось. Пулемет заработал вновь.

– Похоже на работу спецкоманды.

– Что вы имеете в виду?

– То самое, – проговорил он, побледнев. – Видите ли, Флавио, строительство великих империй – это не только праздники под пенье юных дев. Вы ведь бывали в Испании.

Я отложил бутерброд.

– Вы хотите сказать...

Зондерфюрер поднялся.

– Если угодно, – сказал он со злостью, – это музыка истории. Истории, какова она есть, а не такой, как ее опишут историографы и пропагандисты. Истории в чистом виде, без романтического пафоса и зеленых насаждений на неприятных местах. Считайте, что нам посчастливилось стать очевидцами. Боюсь, не последний раз. И к сожалению, не первый. Не зря у Оксаны Пахоменко был в парке такой бледный вид. Юрген!

Мы сочли за благо тронуться в дальнейший путь и перекусить не на траве, а в населенном пункте. Возможность представилась не сразу. Несколько встреченных по пути деревень были настолько разорены, что задерживаться в них не имело смысла. Наконец за поворотом мелькнула колокольня, и вскоре мы въехали в большое и почти нетронутое село.

Длинная, обросшая лопухами улица была пуста, словно жители попрятались, слышав шум мотора. Грубер велел Юргену проехать прямо к церкви и не ошибся. Не успели мы затормозить, как на крыльцо вышел плотный мужчина лет тридцати пяти с черной бородой и в наряде русского священника, или так называемого попа. Следом за ним из дверей вынырнул тощий старик, то ли дьякон, то ли пономарь.

– Команда в сборе, – отметил удовлетворенно Грубер и, выйдя из машины, решительным шагом направился к служителям культа. Разговор между ними был краток. Вскоре все, кроме дьякона – взгляд его напомнил мне о недавних девочке и мальчике, – сидели в уютном домике священника, с удовольствием поглощая вкусный свекольный суп, которым угостила нас попадья, и привезенные нами деликатесы – салями, сардины и бутерброды с икрой Луцака. Священнику понравился Груберов коньяк, икра же, по его мнению, требовала сухого шампанского. «Но с этим нынче трудно, – посетовал он. – Новый Свет находится неподалеку от линии фронта, Севастополь не освобожден от коммунистов. А про настоящее, французское, за годы безбожной власти мы тут и вовсе забыли».

Звали его отцом Филаретом, и был он сама любезность – пусть слова о Севастополе и звучали укором рейху. После трапезы он не без гордости поведал о достижениях в последние девять месяцев. Я немедленно вынул блокнот и быстро стал делать записи, прикидывая, как бы назвать интересный материал. Грубер трудился как переводчик – языками отец Филарет не владел.

– Да и где было нам им учиться? Мы же здесь существовали, как первые христиане в римских катакомбах – лишь бы веру сохранить. Жили как на вулкане Везувия. Ах, что было, что было, вам такого и не представить.

Теперь, по его словам, всё радикально переменялось. Открыты запертые и оскверненные большевистской сворой храмы, молодые венчаются, покойники отпеваются, в школах введен Закон Божий.

– Я сам преподаю, не чужаюсь. А детишки-то, детишки – тянутся, словно бы и не было жидовской коммунии. И ведь ни о чем раньше не ведали – ни о Новом Завете, ни о Ветхом. А теперь вот узнаёт, разумом просветляются.

Я проявил любопытство, возможно излишнее.

– Не могли бы вы сказать, отец, как в процессе преподавания решается еврейский вопрос. Ну вот, скажем, Ветхий Завет...

Поп прыснул, сообразив, куда я веду разговор.

– Это вы о жидях, что ли? – Я уже знал русское слово «жид», еще от Зорицы, у них по-хорватски оно звучало так же и происходило от нашего giudeo. – Так я о них вовсе не говорю, зачем смущать юные души? Вы вот в Италии как выкручиваетесь?

– Не знаю, – пожал я плечами, – в мои школьные годы подобной проблемы не было.

Отец Филарет испытующе поглядел мне в глаза и наставительно заметил:

– Проблема была всегда, только вы ее не замечали. И что бы мы делали без нашего фюрера? А тут, не поверите, одним ударом двух зайцев – и от проблемы избавляемся, и народ обращаем к Богу.

– Это как? – не понял я.

– А мы объявили по селам да деревням, – в его речи я уловил русское слово «хутор», вероятно и обозначавшее деревню, – кто не покрестится сам или детей не будет крестить – тот еврей, ну и, понятное дело, его того... Толпами в церковь повалили, даже самые безбожники. Были дни в прошлом году – в день по семьдесят душ обращали, – он лукаво подмигнул. – А у вас в Италии много безбожников?

– Знаете ли, – протянул я задумчиво, – мы не ставим задачи поголовной евангелизации.

Грубер добавил – по-русски, но с последующим переводом для меня:

– И вообще у нас другие задачи, отче, почитайте основополагающий труд Альфреда Розенберга. Большой специалист в духовной области.

Отец Филарет уловил сарказм и пожевал задумчиво губами.

– Да, да, понимаю. Но у нас в России, то есть на Украине, всё совсем по-иному. Надо восстановить разрушенное жидями и коммунистами. Одно плохо, священников не хватает. Мне вот теперь приходится сразу несколько приходо́в окормлять. Одного попа неделю назад ваши... как бы лучше сказать... увезли. Не о том думал. Абстрактные представления о христианстве, неуместные в наше время конкретных дел. Не стоит этого записывать, я лучше что-нибудь о духовном возрождении.

* * *

Несмотря на целый ряд неожиданных препятствий и еще одну незапланированную ночевку, долгожданный момент наступил. Справа открылось море, слева заблестели озера – и мы, сквозь густую линию постов и заграждений, постепенно углубились в Крым. Пейзаж изменился не сильно. Немножко поблѣкла степь – здешняя почва была сильно просолена, – но рядки пирамидальных тополей и появлявшиеся то и дело россыпи белых домиков мало чем отличались от виденных нами прежде. Правда, резко увеличилось количество военных грузовиков – от буквосочетания ВН буквально рябило в глазах, – а в небе то и дело проносились охранявшие трассу немецкие истребители. Наша цель была ближе и ближе – но снова вмешалась судьба.

В какой-то момент наш шофер сообщил – горячее на исходе, пора заполнять бензобак. На первой же заправке нам сказали, что придется подождать – из-за операций на Керченском полуострове весь бензин на счету и сейчас его выделяют лишь тем, чье присутствие в зоне военных действий совершенно необходимо. Грубер не стал доказывать, что нахождение под Керчью корреспондентов и пропагандистов не менее важно, чем грузовиков с боеприпасами, – это бы было неправдой. Стоически перенеся удар, он заглянул в свою карту и хмуро спросил у Юргена:

– На сколько километров нам хватит?

– На пятнадцать, не меньше.

– Следовательно, всё идет в соответствии с нашим планом. За исключением Керченской операции, которую планировали не мы, а Левинский. В четырех километрах отсюда расположен учебный лагерь, который я был намерен посетить. До него нам горючего хватит.

– Может, там и нальют немного, – трезво заметил Юрген.

– Кто такой Левинский? – спросил я Грубера, когда мы тронулись по проселку, уводившему в сторону от главной дороги.

– Генерал-полковник фон Манштейн, – объяснил зондерфюрер. – Это его первая фамилия, до усыновления. Правда, неплохо звучит? Фон Левинский – истинно прусское имя.

Я равнодушно пожал плечами. Родовая история генерал-полковника занимала меня гораздо меньше, чем его успехи на керченском фронте.

Начальник лагеря майор Бандтке принял нас радушно, накормил обедом, бегло высказался о грядущих перспективах национал-социализма, фашизма, коммунизма и плутократии, после чего устроил обзорную экскурсию по своим довольно обширным владениям. Я не пожалел. Такого количества интересных снимков в течение дня мне не доводилось делать давно.

Большая учебная атака, свидетелями которой мы стали, была великолепна. Грохот пулеметов, разрывы гранат, быстро возникавшие и исчезающие в высокой траве группки солдат пехоты – всё выглядело весьма натурально. Действия личного состава отличались слаженностью и целесообразностью. Огонь стремительно перемещался по фронту, то затухая, то вспыхивая вновь, работавшие в поле нашего зрения минометчики, получив по рации команду, быстро и ловко переносили обстрел на нужные участки, команды саперов стремительно уползали туда, где требовалась их помощь. Порой на поле не было заметно ни фигурки, но я постоянно чувствовал – оно наполнено людьми, идущими прямым путем к победе. Ничего подобного в Испании я не видел. Но там была настоящая война со свойственным той беспорядком и беспорядочностью, тогда как здесь всего лишь учения.

Я спросил сопровождавшего нас капитана Шёнера, командира одной из учебных рот:

– Стреляют холостыми?

– У обороны, кроме гранат и мин, всё боевое, – ответил тот с гордостью. – Наша обычная практика.

– И бывают потери? – уточнил я, подумав вдруг, что достаточно одному из пулеметчиков сбрендить и вцепить очередь по совершенно открытому наблюдательному пункту, где находимся мы... Впрочем, Елена и миланская журналистика перенесут эту утрату спокойно.

– Мы прилагаем все силы, чтоб их не было, но солдатам об этом лучше не знать. Их дело самим научиться, как не стать потерей. В целом обучение продумано как нельзя лучше. Надо сделать так, чтобы солдат сам хотел уехать отсюда на фронт. И нам это удастся.

После полигона мы прошли по лагерю. В нем, конечно же, царил идеальный порядок, долженствующий воцариться в каждом месте, где ступит нога тевтона. Бараки были чисты, плац выметен, хотя и не блестел (добиться блеска в пыльной степи возможным не представлялось), и даже сортир, куда я зашел по надобности, практически не вонял.

– Санитарное состояние на самом высоком уровне, несмотря на полевые условия, – с удовольствием комментировал Шёнер. – Солдат сыт, одет, чист, и если бы не усталость от ежедневных многочасовых тренировок, он был бы доволен жизнью. Но последнее в учебном лагере ни к чему. А вот это для тех, кто оказался чести недостоин, – продолжил он, подводя меня и Грубера к деревянным клеткам, в одной из которых в полусогнутом положении находилось существо, отдаленно напоминавшее человека. – Некоторые, впрочем, исправляются.

– А если нет? – поинтересовался я, моментально осознав, что тот, кто в клетке, не исправится никогда.

– Не стоит писать об этом, – посоветовал Шёнер, ведя нас дальше, – но голод и жара помогают довольно быстро избавиться от балласта. В конце концов, это естественный отбор. Мы всего лишь его ускоряем. Наша задача – сделать из наличного человеческого материала

то, что послужит Великогерманской империи и, в конечном счете, созиданию нового мира. Ведь у нас и у вас любят поболтать о сверхчеловеках, римлянах, германских доблестях – в том числе и те, кто далек от всего этого и никогда ни на йоту не приблизится к идеалу. Мы же на практике делаем сверхлюдей – вот из этих вчерашних мальчишек. Ну, а отходы неизбежны в каждом производстве. Кстати, могу предложить хорошее название для вашего очерка: «Здесь закаляется сталь».

Грубер странно хихикнул. Во мне же вновь разыграл мой дух противоречия.

– Человек может быть слабым.

– А наша задача – сделать его сильным, – не задумываясь, ответил Шёнер. – Время слабаков прошло. Настала эра героев. Таких, как эти.

Я проследил за пальцем капитана. В лагерь с песней возвращались запыленные, но бодрые солдаты. Расстегнутые воротники зеленых хлопчатобумажных курток обнажали крепкие загорелые шеи, потные лица под пилотками светились гордостью, полагаю – вполне законной. Я поспешил сделать несколько снимков. Шёнер пояснил:

– Моя рота. Сегодня выдержали первый экзамен и отпущены в лагерь на два часа раньше обычного. Дней через пять отправятся под Севастополь.

Я удивился.

– Не в Керчь?

– Там они уже не понадобятся. К тому же их дивизия не участвует в керченской операции.

– Мы могли бы побеседовать с бойцами? – спросил зондерфюрер.

– Разумеется.

По распоряжению Шёнера рота остановилась. Одному отделению была дана команда «вольно», прочие удалились. Нас представили. Солдаты с любопытством смотрели на двух людей, обвешанных совсем иным, чем они, снаряжением. Грубер стал задавать вопросы. Он выяснял, кто откуда родом, давая попутно понять, что отлично знаком с этими местами, чудеснейшими в Европе. Спрашивал об участии в военных действиях – и вновь демонстрировал, что прекрасно осведомлен, где, когда и что происходило, а тот, с кем он в данный момент разговаривает, является представителем одной из лучших частей непобедимого германского вермахта. Он умел общаться с людьми и, если хотел, сумел бы понравиться каждому.

Почти все оказались северянами, лишь один, высокий и темноволосый, был земляком Грубера, откуда-то с юго-запада. Он немного говорил по-итальянски – во всяком случае, приветствовал меня на моем языке и вообще производил впечатление неглупого парня. Открыв блокнот, я приготовился записывать.

– Не могли бы вы назвать свое имя и звание?

– Курт Цольнер. Старший стрелок.

– Чем занимались до армии?

– Учился в университете. Второй курс.

Отлично, подумалось мне. После пары бесед с рабочими и крестьянами, которых найти заведомо легче, можно будет написать об общенародной армии, в которой представители различных общественных классов ведут борьбу за общее дело. Чушь, конечно, но редакции понравится.

– Итальянский учили там?

– Да.

– Кто ваши родители?

Он ответил.

– Вас наверняка ждет девушка? Или вы женаты?

– Пока нет. Но девушка ждет. Пожалуй.

– С какого времени участвуете в военных действиях?

– С июня прошлого года. Первый раз в бою был в августе. Точнее даже не в бою, а под обстрелом.

– Вы, я вижу, были ранены, – висевший у него на груди значок за ранение был мне знаком по картинкам, изученным в поезде.

– Зимой. Не очень тяжело.

– Побывали в отпуске?

– Да.

– Как вам показались настроения на родине?

Цольнер пожал плечами. Повторять пропагандистские глупости ему, похоже, не хотелось, а настроения на родине могли быть крайне разнородными. Я сделал снимок и протянул ему визитку с названием газеты.

– Кто знает, может, как-нибудь почитаете, посмотрите на себя. Или ваша девушка. Мое издание наверняка получают в вашей университетской библиотеке. Ей будет приятно увидеть ваше фото.

– Спасибо.

Вероятно по привычке, старший стрелок поднес карточку к месту, где у обычного суконного кителя находился нагрудный карман. Однако на хлопчатобумажной куртке таковые отсутствовали, и он, подумав, спрятал мои координаты в брючный. Я продолжил беседу.

– Кто вы по специальности?

– Военной? Стрелок.

– Я имею в виду университет.

– Ах, вы об этом. История искусств. Правда...

– О-о! – протянул я, действительно изумленно. Кого только не встретишь на дорогах войны... Кажется, старший стрелок был моей реакцией смущен. Чтобы его ободрить, я решил продолжить тему. – Думаю, здесь, в Крыму, вам должно быть интересно. Ведь эта земля помнит народы, куда более достойные, чем ее нынешние, точнее вчерашние, владельцы. – Незаметно для себя я перешел на язык идиотов-пропагандистов. – Греков, римлян, готов, генуэзцев...

Парень не очень уверенно покивал головой. Второкурсник, что с него взять – наверняка в свое время на уме были не готы и уж тем более не генуэзцы. Возникшую было паузу прервал стоявший рядом Шёнер, вновь продемонстрировавший риторические навыки. Не лишенным изящества жестом он указал на солдат и промолвил:

– Теперь эта земля будет помнить их.

* * *

Юрген оказался прав – бензина в лагере ему налили. Правда, выехали мы только на следующее утро – комендант и офицеры пригласили нас на ужин, отказаться от которого не было возможности, не говоря уже о том, что приходилось думать о ночлеге. «К началу операции мы опоздали безнадежно, а Керчь без нас не возьмут», – справедливо рассудил зондерфюрер.

Одиннадцатого мая мы быстро и почти без остановок катили по грунтовой дороге в сторону Керченского полуострова, обгоняя шедшие в тучах пыли колонны грузовиков. Спустя несколько часов мы добрались до места, где восьмого числа началось наступление. Всё вокруг говорило о его успешном и стремительном ходе. Вскоре мне наскучило снимать брошенное русскими военное имущество. По обеим сторонам трассы виднелись танки, автомобили, тракторы, разбитые, а то и вполне исправные пушки. Табунами бродили лошади. Здоровые спокойно щипали траву, другие же, раненные осколками и пулями, жалобно ржали, поджимали перебитые ноги или лежали на земле, в предсмертной тоске поднимая и вновь опуская головы. Несколько раз попадались группы немецких техников – они осматривали русские танки, оценивая степень их пригодности. Тут же трудились занятые буксировкой германские тягачи.

Щелкнув напоследок пару панорам с убежавшими вдаль столбами знаменитой англо-индийской телеграфной линии, связывавшей некогда Лондон и Калькутту (и служившей инструментом британского империализма, как сказал бы зондерфюрер в очередной своей лекции), я занялся просмотром записей и набросками будущих корреспонденций. В частности, обработкой вчерашних бесед с солдатами. В лагере я поговорил еще с тремя, заполучив таким образом полный социальный комплект.

«Высокий и смуглый – воздействие жаркого крымского солнца – он напоминает чем-то наших соотечественников. Твердый и решительный взгляд, волевой подбородок, четко очерченная линия рта...» Бог знает, какая там была линия, но воин-победитель должен выглядеть так. Но можно и слегка детализировать. «Однако те же самые глаза становятся вдруг мягкими и веселыми, в них светится ум и...»

Что еще может светиться в солдатских глазах? Впрочем, главное намечено, непреклонные нордические болваны давно всем приелись, немцы тоже люди, и итальянцы это знают. «Его зовут Курт Цольнер. Он с немецкого юго-запада. Это многое объясняет, возможно, подумает кто-то из наших читателей или читательниц. Но нет – Курт Цольнер такой же, как и его боевые товарищи из других немецких земель. Не в том, конечно, смысле, что все они на одно лицо или обладают одинаковыми чертами характера, являя собой то, к чему стремится нивелирующая система большевизма. Речь не об этом...»

А о чем? Кстати, два раза подряд промелькнуло местоимение «то»: «в том смысле», «являя собой то». Да еще и «об этом» в придачу. Но пока можно пропустить, в первую очередь излагается суть. «Он принадлежит к классу, который принято называть образованным. Иными словами, к интеллигенции. Как часто в последние годы это слово становилось едва ль не синонимом равнодушия к судьбам нации, отрыва от народа, непонимания...» Непонимания чего? – снова задумался я. Ну, скажем, собственной страны, хотя звучит не очень. Ладно, решим потом. «Подобно миллионам немцев, его родители сегодня трудятся во имя грядущего торжества германского народа. А сам он, подобно миллионам других, носит сегодня серый мундир и держит в руках оружие, которое следует назвать оружием победы. Оружием чести. Оружием славы. С памятного дня двадцать второго июня сорок первого года он сражается под знаменами фюрера, неся свободу поработенным народам построенного на крови советского «союза». Слова, подумает скептик. Но за словами – великая правда».

Или лучше «правда истории»? Подумаю после. «Тот, кто видел застенки НКВД...» Я не видел застенков сталинской тайной полиции, но подробностями можно поинтересоваться у Грубера. «Кто представляет себе беспросветную мглу колхозного рабства и ужасы искусственного голода, этого изуверского орудия террора, изобретенного коммунизмом...» Хм, знакомство с Ярославом Луцаком не только обеспечило меня икрой, но и обогатило новыми образами. Не добавить ли про геноцид украинского крестьянства? Впрочем, кто знает, насколько это согласуется с генеральной линией. И вообще слишком длинно, пора заканчивать мысль и возвращаться к Курту Цольнеру. «Тот не станет задавать ненужных вопросов». Есть!

«Он отвечает точно и по существу. Чувствуется привитая армией привычка к немногословности. Воевал, был ранен, побывал на родине, счастлив видеть земляков верящими в торжество национального социализма и Великой Германии. И всемерно способствующими грядущему триумфу. Ведь это так важно – не ощущать себя одиноким, особенно когда ты на фронте. И он не одинок. В городе, небольшом университетском городе в южногерманских горах его дожидается девушка. Энхен, Лизхен, Гретхен? Он не называет ее по имени, а я его не спрашиваю. Ведь это совсем не важно. Я вижу по лицу – их чувство глубоко и взаимно».

Как у меня с Зорицей или как у Тарди с Еленой? Не надо, однако, быть пошляком и равнять всех с собой, этот парень младше меня в два раза. «Она его ждет, а что в наши дни важнее? Что позволяет солдату существовать вопреки всему и преодолевать самоё смерть? И возможно, благодаря этой девушке даже здесь, в глубине России, он не забывает о будущей

мирной жизни. Жизни, в которой будут семья и дети. А также университет, книги, возможно – ученая карьера. История искусств, которой он решил себя посвятить, никогда не утратит прелести и...» Напишем пока: «актуальности». «Даже здесь, на древней крымской земле, он находит применение своим недюжинным познаниям. Мы говорим с ним о греках и готах, о Византии и гунуэцах, он рассказывает, что мечтает побывать в Пантикапее и Херсонесе, в Кафе и Чембало».

Я заглянул в немецкий путеводитель, которым обзавелся в городе на Днепре, сверил названия и добавил Керкинитиду, Еникале и Согдейю.

– Чем вы там заняты? Строчите? – спросил Грубер. – Доставайте лучше камеру – перед нами представители братской семьи народов страны победившего социализма.

Я выглянул в окошко и увидел двигавшуюся вдоль дороги человеческую массу – русских пленных, огромную колонну, хвост которой терялся где-то за холмами. До сих пор я мог наблюдать подобное исключительно в кинозале. Они шли практически без охраны, по десять человек в ряд, а местами и вовсе беспорядочной толпой. Грязные, заросшие, оборванные. Держа руки в карманах распахнутых шинелей или измятых, побелевших от солнца бриджей. Сопровождающие их верховые, вооруженные винтовками и в касках, почти не обращали на подконвойных внимания. Когда мы, выйдя из машины, приступили к съемке, один из пленников, чем-то похожий на сицилийца, приветливо махнул нам рукой. Грубер ответил ободряющим жестом и с непонятной печалью сказал:

– Вглядитесь в лица. Оцените покорность. Вот она, сегодняшняя Россия.

Лица и в самом деле представляли интерес. Многие военнопленные больше походили на турок, чем на русских, – черный волос, горбатый нос.

– Средиземноморский тип, – не без ехидства пояснил мне Грубер. – Для русских просто кавказцы. Азербайджанцы, армяне, грузины и прочие «нерусские». Которые не очень-то рвутся проливать кровь за своего земляка – Иосифа Сталина. Кстати, я узнал, что в самом начале наступления прорыв был совершен как раз на участке азербайджанской дивизии. Накануне ее солдат-мусульман обрабатывали листовками на их языке, призывая сдаваться в плен и переходить на нашу сторону. Но дело не только в листовках. И не только в азербайджанцах. И возможно, не в исламе. Просто сегодня карта Сталина бита – и никто не желает его защищать.

* * *

В том, что карта Сталина окончательно бита, я усомнился на следующий день, когда пришли известия о начале русского наступления под Харьковом. Но первоначальное продвижение сталинских армий не поколебало уверенности Грубера. «Оно обречено», – мрачно сказал зондерфюрер. Боевые офицеры, а наш разговор шел в офицерской столовой, устроенной в огромной палатке невдалеке от передовой, согласно закивали головами, подтверждая, что русские лезут в мешок.

В те несколько дней мы мотались почти без отдыха. У меня раз пять заканчивалась пленка, Груберу приходилось выручать меня, обращаясь к коллегам-пропагандистам. Семнадцатого мая мы въехали в занятую немцами, или, как выразился Грубер, «вторично освобожденную» Керчь – большой портовый город, раскинувшийся у пролива, соединяющего Черное море с Азовским и отделяющего Крымский полуостров от Таманского.

– Занятно, – заметил Грубер, – но Керчь вновь попадает в наши руки шестнадцатого числа, ровно через шесть месяцев после того, как мы вошли в нее первый раз.

– Шестнадцатого ноября? – прикинул я.

– Угу. Правда, тогда мы продержались тут недолго, перед Новым годом русские высадили десант и показали, что у них тоже порой кое-что получается. Но только порой. А потом почти полгода полного беспорядка. Сотни тысяч людей, танки, самолеты – и всё лишь ради того, чтоб

снабдить нас трофеями. Кстати, на обратном пути завернем в Феодосию. Говорят, там русские при высадке перебили наших пленных, будет о чем написать.

Что касается трофеев, то Грубер был прав. Такого количества я прежде не мог себе даже представить. Улицы и окрестности города были буквально забиты грузовиками, повозками, полевыми кухнями, артиллерией, продовольствием, обмундированием, разнообразными боеприпасами. Фотографировать стало неинтересно, в предыдущие несколько дней я наделал достаточно снимков. Местами выщербленные стены домов были забрызганы кровью, немецким солдатам, продвигавшимся в сторону порта, приходилось постоянно обходить валявшиеся на мостовой трупы в русских армейских рубахах. В какой-то момент перемещаться на автомобиле стало физически невозможно. Оставив Юргена, мы двинулись пешком, медленно поднимаясь на холм, господствовавший над городом и бухтой. На ведущей вверх тропинке дежурили жандармские патрули. Какой-то фельдфебель, проверив мои документы, добродушно заметил:

– А стоит ли? Русские с окраины порой колошматят по центру. Да и самолеты ихние летают.

– Такова наша работа, – с улыбкой ответил Грубер.

Перебравшись через разбитые позиции зенитных батарей, где лежали еще не убранные тела накрытых артиллерией зенитчиков, мы очутились на самой вершине, где копошилось множество немецких солдат. Открывшееся нам зрелище можно было назвать величественным без малейшего преувеличения. Прямо перед нами лежала обширная бухта, чуть левее – пролив, за которым, словно в тумане, виднелись очертания таманского берега. На северо-восточной окраине города, ближе к проливу, продолжалась стрельба. Горела нефть, черный дым временами скрывал от нас солнце. С воем носились «Штуки». Их целью была переправа, где русские пытались организовать эвакуацию. Мы хорошо видели суда и суденышки в проливе, а также множество медленно двигавшихся точек, скорее всего самодельных плотов, на которых красные хотели переправиться на противоположный берег. Иногда к ним подходили русские катера, по-видимому, чтобы забрать спасающихся – хотя на таком расстоянии было почти невозможно понять, что происходит на самом деле. Там и сям взметывались ввысь поднятые снарядами фонтаны воды – немецкая артиллерия и минометы вели огонь по отступающим. Изредка с той стороны отвечала невидимая нам русская артиллерия. Неожиданно появившийся русский самолет, мне известный по Испании как «крыса», был незамедлительно атакован двумя «Мессершмиттами» и, задымив, неловко повалился в воду.

– Достойное подтверждение преимуществ коллективизма над индивидуализмом, – прокомментировал Грубер. – То самое, на что молились большевики. Но молиться – это одно, а уметь организовать коллектив – другое.

– Или боевое взаимодействие, – бросил стоявший рядом с нами лейтенант-артиллерист, вероятно наблюдатель.

– Это то же самое, – ответил Грубер. – Кстати, Флавио, вы чувствуете себя стражем Европы у границ Азии? Эллином Геродота? Героем «Анабасиса»? Этером Александра Македонского? Крестоносцем на берегу Дарданелл?

Я не нашелся что ответить. Зондерфюрер продолжил, почему-то понизив голос:

– Невероятно, но я ощущаю нечто подобное. И это ужасно глупо.

* * *

Разгром был полным и сокрушительным. Говорили о ста семидесяти тысячах пленных, сотнях захваченных танков и пушек, неисчислимом количестве снарядов и патронов. «Теперь нам придется перейти на русское оружие, – пошутил кто-то из немцев. – Ведь надо как-то известить трофейные боеприпасы». В тот же день поступили известия о немецком контрударе в районе Харькова. «Чего и следовало ожидать», – кратко заметил Грубер. Почти все русские к

северо-востоку от Керчи были либо захвачены в плен, либо ушли на таманский берег. Лишь в отдельных местах они еще продолжали переправляться и оказывать сопротивление, неся огромные потери от бомбежек и оружейно-минометного огня. Совершив поездку к местам завершающих боев, мы осмотрели завод, бывший некоторое время ключевым объектом русской обороны, и наблюдали за приемом новых пленных.

– Для них война окончилась, – сказал бывший с нами лейтенант из роты пропаганды. – Но я не перестаю удивляться, с какой готовностью они бросают оружие.

– За исключением психопатов, укрывшихся в окрестных каменоломнях, – заметил на это сопровождавший нас лейтенант пехоты; он служил в дивизии, стоявшей в Керчи еще прошлой осенью и зимой. – Такое было и в прошлый раз. Те, первые, сумели дожидаться новогоднего десанта и соединиться со своими. Кто выжил, конечно.

– Думаю, этим придется ждать слишком долго, – ответил лейтенант-пропагандист. – И никогда не дожидаться. Учитывая происходящее в районе Харькова, сомневаться в близком разгроме красных не приходится.

Я не удержался от вопроса офицеру пехоты.

– Честно говоря, мне верится с трудом. В каменоломнях, почти полтора месяца... Чем они питались? Где брали воду?

– Воду? Слизиывали со стен. А мы их морили голодом и пытались утопить, запуская в штольни воду из моря.

– Страх перед комиссарами, – решительно заявил лейтенант-пропагандист.

Лейтенант пехоты, помедлив, кивнул.

– Разумеется, что же еще.

* * *

В Феодосию мы отправились, не дожидаясь, когда последний участок керченского берега будет очищен от русских войск. «У меня еще множество дел в Симферополе, – сказал зондер-фюрер, – надо посетить Евпаторию, Ялту, Алушту – и всё это прежде, чем Манштейн возьмется за Севастополь».

Одним из первых впечатлений от нового города, древней генуэзской Кафы, была вынужденная остановка – которая по счету за последние дни? – на оцепленной солдатами улице, представлявшей собой ряд полуразрушенных или крепко побитых снарядами домов. У крытого брезентом грузовика с номером, привычно начинавшимся буквами WH, толпились дватри десятка людей самого разного возраста. Тут же с винтовками наперевес стояли татарские добровольцы (Груббер научил меня отличать их от русских). Руководил операцией коренастый эсэсовский чин – его я определил по черным петлицам на вороте. Я плохо разбирался в знаках различия СС, всех этих полосках и квадратах, однако погоны на плечах давали понять, что звание его соответствует фельдфебельскому, не знаю уж, каким именно «фюрером» он был в иерархии «черных». Впрочем, мундир его был не черным, а серого, вполне полевого цвета. Несколько светлее, чем у стоявших на мостовой серо-зеленых солдат с обычными армейскими петлицами в воротниках.

– Большевики, евреи, укрыватели, – объяснил остановивший нас жандарм. – Повылазили тут при советах после Нового года. А в январе удрать не успели, попрятались. Вот подчищаем понемногу. Саботажники опять же.

Люди торопливо, но не всегда успешно взбирались в кузов автомобиля. Одной женщине, еще молодой, наспех одетой, с растрепанными светло-русскими волосами, это никак не удавалось, она дважды срывалась под громкий смех добровольцев и немцев. В конце концов солдат с ефрейторской нашивкой, напомнивший мне Курта Цольнера, отдал товарищу винтовку и подошел к грузовику. Легко приподнял женщину, посадил на край кузова. Потом подал ей

ребенка, мальчика, года на три младше моего Паоло, лет девяти. Тоже русого, во вкусе госпожи Портниковой.

Я посмотрел на своих спутников. Юрген побелевшими пальцами стиснул баранку, Грубер внимательно изучал схему города. Тем временем один из задержанных, полный мужчина без пиджака, в рубашке и подтяжках, что-то сказал одному из татар и в ответ получил по зубам. Добровольцы снова заржали, ефрейтор вступил в перебранку с татаринком, но не был поддержан другими немцами. Вмешался ээсовский фельдфебель, и стороны послушно разошлись, давая возможность оставшимся саботажникам залезть в кузов (уже находившиеся там помогали товарищам по несчастью). Наконец погрузка завершилась. Грузовик уехал, оцепление сняли, и мы смогли отправиться дальше.

В тот же день мы посетили музей, где встретились с очередным знакомым Грубера, историком и тоже специалистом по славянам, ныне – сотрудником команды «Крым», занимавшейся, как он выразился, учетом культурных ценностей. Русский музейный работник (директор был болен, но, кажется, врал) устроил для нас небольшую экскурсию и в завершение преподнес мне сверток, развернув который я обнаружил средних размеров деревянную икону, выполненную в старинном русском стиле.

– Что это? – не понял я.

– Маленький презент, – улыбнулся тот.

– Но это же произведение искусства, быть может, семнадцатый век.

– Вторая половина шестнадцатого, – уточнил знакомый Грубера, повертев в руках расписанную потемневшими красками доску. И добавил: – Берите, господин Росси, это из подарочного фонда.

– Какого? – опять не понял я.

Грубер, кажется, тоже не понял. Во всяком случае, последней формулировки. Историк развел руками и пояснил:

– Видите ли... Мы отобрали тут всякие безделушки для награждения отличившихся офицеров, чтобы они могли привезти на родину маленький экзотический сувенир. После войны, когда всё утрясется, это будет стоить хороших денег. Так что не смущайтесь, перед вами общий подарочный фонд новой Германии и объединенной Европы. Вот...

– А это для господина Грубера, – перебил его музейный работник. Грубер только покачал головой и, не разворачивая, сунул подарок в портфель.

* * *

Вечером мы отметили керченскую победу в компании историка и одного немецкого репортера. На следующий день посетили военный госпиталь, где, по словам Грубера, под Новый год большевики уничтожили немецких раненых: часть была убита на месте, а часть вытащена на берег, облита водой и оставлена погибать на морозе. В обед – всё в той же компании – мы отпраздновали новые успехи под Харьковом и ближе к вечеру ощутили чудовищную усталость. Сказалось как напряжение последних дней, так и количество выпитого. Вливать в себя шампанское среди бела дня, пусть и неплохое, практически летом, в жару, нелегко. Грубер предложил пойти на набережную и немного подышать морским воздухом. Я с радостью согласился, понимая, что оставаться в номере – обрекать себя на муки.

На широком променаде слегка пришедшего в себя Грубера потянуло на рассуждения о русской литературе и особенностях национального характера – тему для меня новую и потому интересную.

– Я равнодушен к Толстому, но Достоевский довольно занятен, – говорил зондерфюрер, медленно прогуливаясь вдоль парапета, у основания которого с мягким шумом плескались волны, пока еще зеленые, но начинавшие уже темнеть. – Он неплохо сумел показать некоторые

особенности русской души и даже создал ее своеобразную типологию. Вы читали «Братьев Карамазовых»?

– Не очень внимательно.

– Я напомню. Представьте себе следующую констелляцию. Отец – тиран и самодур. И три его сына – три совершенно не похожих на первый взгляд типа, которых объединяет то, что они русские. Один, что называется, в отца, хотя всё же несколько лучше. Его зовут Дмитрием. Бабник, греховодник, игрок, буен и смел, порой до безумия. Если увлечется, может наделать бед, но потом станет искренне каяться. Другой, Иван, холоден, расчетлив, на пути к своей цели не остановится ни перед чем, но каяться не станет, всегда найдет оправдание и обоснование собственной подлости, которая окажется и не подлостью вовсе, а чем-то правильным и нужным. Для Достоевского он человек западного типа, что вовсе не означает его нерусскости, это тоже русскость, но, так сказать, в извращенной форме, результат порчи, которой подверглось, с точки зрения автора, русское общество в результате ненужных заимствований. Третий – Алексей. Смиранный, богобоязненный, готовый простить всех, но твердо стоящий на неких нравственных принципах, ко всему еще и монашествующий. Некий идеал, возможно – импотент. Ну, а рядом с ними – четвертый. Незаконнорожденный Смердяков. Фамилия говорящая. Понимаете, что она означает?

– Я ведь почти не знаю языка.

– «Смердеть» – старинное русское слово, значит «вонять, дурно пахнуть». Оно, в свою очередь, происходит от еще более древнего слова «смерд», то есть «зависимый человек, холуй, холоп» – по крайней мере, во времена Достоевского оно понималось примерно так. И вот этот Смердяков, лакей в доме собственного отца (оцените изящество мысли прозаика), являет собой всё самое отвратительное в русском характере. Он способен сделать то, о чем подленький, но умный, правильный и осторожный Иван может только робко подумать. Для него не свято ничто. Ни семья, ни принципы, ни вера, ни родина, наконец. Он прямо так и говорит, с гордостью: «Я всю Россию ненавижу». Неплохо сказано, а? Этакое богоборчество на русский лад. И он же о нашествии Наполеона: было бы хорошо, если бы умная нация покорила весьма глупую. В конце концов Смердяков, истолковав по-своему и в общем-то правильно намек «западного человека» Ивана, убивает отца. Дмитрий идет за это на каторгу. А Алексею остается лишь негодовать, прощать и каяться в чужих грехах. Правда, интересно?

– Мрачноватая история, – проговорил я, глядя в открытое море. Оно было пустынным, совсем не таким, как под Керчью. Лишь далеко в стороне, у причалов морского порта, стояли немногочисленные немецкие катера, скорее моторные лодки, а также несколько кораблей, брошенных русскими при бегстве во время январского штурма. Пустынной была и набережная – почти никого, кроме нас, только военные патрули и укрытые маскировочными сетками расчеты зенитных орудий, грозно уставивших ввысь стволы, темневшие на фоне вечернего неба.

– Но назидательная, – сказал Грубер. – Мне порой кажется, что русские бьют все рекорды по проценту людей, ненавидящих свою страну. И этим рейх умело пользуется. Смердяков – такой союзник, которому поистине нет цены. И которого мало где найдешь в таком количестве.

Я не спешил соглашаться.

– Коллаборанты есть везде. Во Франции их больше.

– Тут имеется множество качественно иных коллаборантов, совсем не похожих на французов или, скажем, голландцев. Французский коллаборационизм зачастую трудно отделить от повседневной практичности. Иногда перед нами предательство, но чаще всего лишь факт, что жизнь продолжается. Надо печь хлеб, обеспечивать насущные нужды, предоставлять работу и минимум развлечений. Короче, делать так, чтобы работали театры, рестораны, кафе, магазины. Для получения разрешения на это вовсе не требуется предавать соотечественников. Война проиграна, но Францию никто не уничтожает. Более того, она наш союзник.

– Но Россию, как я понимаю, тоже не уничтожают.

Мы дошли до края набережной. Дальше на довольно большом пространстве расстился галечный пляж, отделенный от городских построек пробегавшей чуть выше железной дорогой. Грубер остановился и, насупившись, заложил руки за спину. Расположившиеся неподалеку зенитчики с любопытством поглядывали на двух нетрезвых господ, одного в офицерском мундире, другого в летнем штатском пиджаке. Если бы они еще догадывались, о чем мы говорим...

– Не лукавьте, Флавио. России больше не будет. И те, что по-настоящему служат нам, не могут о том не догадываться. Тем более что война продолжается и каждый день гибнут тысячи их соотечественников. Очень часто на их же глазах. Нередко от их собственных рук. Нет, это совсем другое. Душевная болезнь.

Я ответил не сразу.

– А разве нельзя сказать, что это наследие кошмарной русской революции, кровавой гражданской войны и раскола, поразившего русское общество? Массовые убийства, взаимная ненависть, сведение счетов. Множество обиженных и озлобленных людей, лишенных коммунистами элементарных человеческих прав.

– Можно. Но ведь и гражданская война порождена, на мой взгляд, всё тем же Смердяковым... в соавторстве с Иваном Карамазовым. – На лице Грубера мелькнула его обычная ироническая улыбка. – Никак не объяснить всего нерешенностью аграрного, рабочего, национального или даже еврейского вопроса. Здесь иное – ненависть к самим себе в сочетании с искренней верой, что лично ты всё же лучше других и можешь, убив ближнего или, например, разрушив свою страну, сделать мир счастливее и богаче. Отсюда большевизм – я имею в виду ранний, нынешний декларирует свой патриотизм. Отсюда неуклюжая национальная, а на деле антинациональная политика. Отсюда красный террор.

– Разве Смердяков и Иван стремились сделать мир счастливее и богаче?

– Верное замечание. Но Смердяков – это, так сказать, безыдейная форма болезни. Идеи описана в другом романе, «Бесах». Не читали?

– Нет.

– Любопытнейшая вещь. Вернетесь в Италию, займитесь на досуге, местами скучно, но постепенно втянетесь. Детектив à la russe. Большевики оценили Достоевского по заслугам. Было время, его хотели изъять из публичных библиотек. О существовании «Бесов» вспоминать не принято до сих пор, иначе возникнет вопрос: почему сочинения контрреволюционера не запрещены вообще, а тех, кто занимается их изучением, поголовно не расстреляют?

Нельзя отрицать, что беседы с Грубером бывали порой в высшей степени познавательны. Мне было бы интересно узнать его мнение о психологическом состоянии Германии. Но я не стал его спрашивать о подобных вещах.

Между тем зондерфюрер продолжил, задумчиво глядя на волны, неторопливо набегавшие на кромку лежавшего под нами пляжа.

– Впрочем, какая разница, запрещен, разрешен... Время Достоевских прошло. Вы ведь обратили внимание – я сказал: России больше не будет.

Он смотрел на меня в ожидании ответа. Мне показалось, я смогу помочь ему точнее выразить мысль.

– Я понимаю вас, Клаус. Небольшое преувеличение с целью сделать суждение острее и отчетливее.

Зондерфюрер поводит головой из стороны в сторону, словно бы ворот давил ему на шею.

– Никакого преувеличения, Флавио, – ответил он строго. – России действительно не будет. Никогда. Ее не должно быть. Она не нужна Европе. – Грубер сделал паузу и расстегнул воротник. – Если бы вы знали, какие сейчас разрабатываются планы по сокращению народонаселения на Востоке, поощрению германской колонизации и окончательному вытеснению монгольских русских орд с Европейского континента... – Он опять посмотрел на меня, будто бы опасаясь, что я заподозрю его в этнографическом невежестве. – Только не подумайте, ради

Бога, что я считаю русских азиатами. Я не настолько глуп, я изучал славянскую филологию, неоднократно бывал в Ленинграде, имел друзей среди русских научных работников – и не могу обманывать себя. Но во имя блага европейской цивилизации, – в голосе его зазвучало странное вдохновение, столь далекое от привычной иронии, – во имя счастья всего человечества их превратят в азиатов. Загонят в Сибирь. А всех, кого сочтут нужным оставить... заставят трудиться... на нас. Иного они не заслуживают. Вы ведь сами могли убедиться – приличных людей в этой стране не осталось. Ее сожрал Смердяков. Ненавижу...

Он скривился и неожиданно всхлипнул, беспомощно, почти по-детски. Похоже, что мы оба сильно перебрали. Но произнесенные слова не стали от этого менее убедительны. Я действительно поверил, что России больше не будет, пусть я и не считал, что ее быть не должно.

Мы еще долго стояли на берегу, жадно вдыхая прохладный вечерний воздух. Ветер с моря приносил облегчение. Уходить не хотелось – напротив, хотелось остаться. Остаться и всматриваться в безмолвную даль, полыхавшую в лучах предзакатного солнца, багровым диском повисшего за спиной.

Но солнце в считанные минуты погасло. На море, на пляж, на притихший испуганный город легла непроглядная ночь.

Город славы Красноармеец Аверин. Род. 1923

Вторая половина мая 1942 года, седьмой месяц обороны Севастополя

Моря в этот день я так и не увидел. Прибыли мы ночью, грузились вечером, я оказался в трюме, и говорили, оно даже хорошо: если потопят, так сразу ко дну, мучиться не придется. Я сразу понял, что это ерунда.

На причале мы ждали с утра, но скучали не очень сильно. Пока сидели, наслушались всякой музыки – нашей и американской. Утесов, Шульженко, Лещенко, антифашист Марек Вебер. Я давно уже столько всего не слышал, у нас в запасном полку совсем другой был джаз – в исполнении сержанта Рябчикова и лейтенанта Кривогузова. А тут радио играло почти непрерывно – так, видно, у моряков было принято, чтоб работалось веселее, что ли. Работы у них и впрямь было невпроворот, грузили боеприпасы, поднимали кранами огромные ящики. Любопытно было бы поближе подойти, посмотреть – но зачем у людей под ногами вертеться, когда они делом заняты, да и не разрешил бы никто.

Сидели мы под деревянным настилом. С одной стороны возвышался борт здорового транспорта, с другой подступала бетонная стенка. Потому ничего и не было видно, в смысле не было видно моря. Только слышно – волны плещут, чайки кричат, пароходы гудят иногда. Обидно, конечно, но я рассудил, что еще нагляжусь, коль пришлось оказаться на юге. И вновь изумился тому, сколько людей и оружия идет у нас против немцев. И если такая силища у нас, то какая ж она у них, если нам теперь снова так худо приходится?

А потом, ближе к вечеру, тоже по радио, хор краснофлотцев грянул: «Наверх вы, товарищи, все по местам...» Торжественно грянул, грозно – и началась погрузка личного состава. Застучали по сходням сапоги, потащили пулеметы, противотанковые ружья... Наша маршевая рота со Старовольским тоже подтянулась, стали ждать своей очереди. Разномастных маршевиков вроде нас грузили позже, сначала – боезапас и укомплектованные подразделения.

Однако продолжалась погрузка недолго. Едва краснофлотцы пропели: «Прощайте, товарищи, с богом, ура! Кипящее море под нами...» – как начался беспорядок. Раньше бы сказали «буза» – вроде той, что случилась в кавэскадроне из кинофильма братьев Васильевых «Чапаев». У нас кавэскадрона, разумеется, не было, но буза получилась не хуже.

Устроили ее кавказцы, целый батальон, а то и больше. Они тоже были маршевиками, но выглядели вполне строевой частью, всё, что положено, у них имелось – командиры, политруки, комиссар. И они-то как раз отказались грузиться, стали кричать, что никуда не поедут. Я и не думал, что такое бывает, не гражданская ведь война. Оказалось, бывает. Мне даже жутко сделалось – стоят на пристани сотни людей, в гимнастерках, ремнях, полной выкладке, и орут во всю глотку: «Зачем нам ваш Севастополь, тут оставаться будем, родной Кавказ защищать!» Некоторые подходили и к нам: «На убой посылают... Всё равно Севастополю крышка», – но это уже вполголоса, чтобы не услышали посторонние.

Начальники их растерялись. Комиссар с политруками просто встали в стороне, словно бы их тут не было. Некоторые командиры из младших бузили вместе со всеми и от имени красноармейцев говорили с капитаном корабля и начальником причала. Больше всех выступал молодой лейтенант, чем-то похожий на нашего Старовольского, тоже, видать, с незаконченным высшим. «Это, – говорил он, – неправильно, нерационально. Немцы захватили Керчь, скоро переправятся на Таманский полуостров, оттуда придут на Кавказ – кто защитит наши дома, нашу землю, наших матерей, наших жен? В Севастополе очень много войск, целый флот ему помогает, это неприступный черноморский бастион...» Вот и пойми, что у них на уме: одни кричат «все равно крышка», другие – «неприступный бастион». И так продолжалось полчаса,

а может быть, и больше. Мы сидели рядом, видели. Рябчиков, тот только головой мотал – во дают, елдаши! – а Старовольский молчал, курил папироски, и вид у него был совсем нехороший. Ребята тоже помалкивали, ну и я молчал вместе с ними.

Как появились особисты, никто не заметил. Прикатили на «Виллисе» и двух грузовиках. Выскочили, рассредоточились, в руках на изготовку ППШ. Быстро и ловко оттеснили кавказцев от прочих – и кавказцы сразу затихли. И тогда из «Виллиса» вышел главный, по виду тоже кавказец, лет сорока пяти. Высокий, в ремнях, лицо черное, мятое. Прошел мимо нас, глянул мельком – запавшие глаза горели, как два уголька. И от взгляда его стало жутко, хоть бояться нам было нечего, мы ведь в бузе не участвовали.

Остановился неподалеку, рядом встали два автоматчика. И все замерли, безоружные, вооруженные, армейские и флотские, не издавая ни звука. Только чайки кричали изредка да билось в причалы море.

– Нехорошо, – сказал кавказец, медленно подбирая слова. – Очень нехорошо, товарищи... Родина доверила вам оружие. Доверила честь... защищать город... славы нашего народа. А вы... не оправдали доверия.

Стало еще тише, хотя тише, казалось, и быть не могло. Вскинув голову в фуражке с синим верхом, кавказец резко спросил:

– Кто не хочет в Крым? Пусть выйдет из строя. Он не поедет.

И сразу же взгляды устремились на лейтенанта, похожего на нашего Старовольского. Тот сделался бледнее смерти, было видно, как не хочется ему выходить. Но он вышел. Особист прокричал ему что-то на своем языке. Тот ответил. Кавказец опять закричал, громче прежнего, и тот ему снова ответил – хоть и без крика, но так, чтобы слышали и поняли все – если, конечно, знали язык. Особист покачал головой и что-то пробормотал. Потом спросил опять:

– Кто еще не хочет?

Медленно, с опаской вышел невысокий сержант, за ним, уже быстрее, сразу четверо красноармейцев. Особист-кавказец кивнул автоматчикам, и те стремительно завернули лейтенанту с сержантом руки за спину. Стали хватать и других, но кавказец распорядился:

– Остальных оставить, не будем ослаблять боеспособность подразделения.

А потом лейтенанта с сержантом отвели к бетонной стенке, и кавказец, не сходя с места, отчетливо произнес:

– По шкурникам, трусам и паникерам...

У сержанта и лейтенанта распахнулись от ужаса рты. Я невольно зажмурил глаза, и, уверен, не я один. Так вот оно как бывает...

Пауза тянулась вечность – пока всё тот же голос не сказал: «Отставить. Увести подлецов».

Лейтенанта и сержанта, подталкивая прикладами, загнали в кузов грузовика. Держа под прицелом, посадили на голые доски. Закрыли задний борт, щелкнули железными крюками. Теперь виднелись лишь две головы, но глядели оба, лейтенант и сержант, не на своих сослуживцев, а в сторону. Возможно, и вовсе никуда не глядели.

Кавказец обвел всех взглядом, нас зачем-то тоже, и усталым голосом спросил:

– Ну, кто еще не хочет защищать Севастополь?

Потом, обернувшись к капитану корабля и начальнику причала, бросил:

– Инцидент исчерпан. Продолжайте погрузку.

И только после этого обратился к комбату, ротным, комиссару и политрукам кавказцев, которые вытянулись перед ним в струнку, бледные, как тот лейтенант.

– А вам должно быть стыдно, товарищи. С такими вы должны справляться сами. А то как дети малые, без госбезопасности шагу ступить не можем.

Что они ответили, я не услышал. Снова ожил репродуктор, и хор Александрова, размеренно и твердо, как бы вбивая сваи в мерзлый грунт, запел о священной войне. Грузовики и «Виллис» укатили, причал пришел в движение, кавказцы гуськом побежали по трапам. Мимо

нас провели под конвоем безоружных и распоясанных красноармейцев – тех, что сдуру пошли за лейтенантом. Вскоре погрузились и мы.

* * *

В трюме мне сначала показалось темно, однако со временем глаз привык – хоть и тусклые, но лампочки там имелись. Я и представить себе не мог раньше, что бывают на кораблях такие огромные помещения, похожие на заводской цех. Тут находилось множество разных ящиков – со снарядами, патронами, провиантом, – здоровые бочки с горючим и смазкой, и даже стояли лошади, жевали, уткнувшись в кормушки, сено.

Наша рота разделилась, мы с младшим лейтенантом Старовольским устроились в свободном уголке, стараясь ни с кем не смешиваться, чтоб чужие не поперли наши вещи. Вокруг звучала негромкая и нерусская речь. Приглядевшись, я увидел всё тех же кавказцев, серых, прибитых, напуганных. Порой по трюму пробегали занятые своим морским делом матросы. Зная об инциденте, смотрели на кавказцев исподлобья. За компанию – и на нас.

– Да, Багратионов среди них маловато, – сказал Старовольский. Скорее печально сказал, чем с издевкой. С непонятной, но очевидной тоскою в глазах. Сержант Рябчиков понял его по своему, если вообще что-то понял. Но с готовностью подтвердил:

– Это точно, немного. – И добавил: – Может, закурите? Я как раз сигарку скрутил.

– Давайте, – проговорил Старовольский.

Нам самим было муторно смотреть на кавказцев, а вот Рябчиков в очередной раз расмешил, даром что было совсем не до смеха. Уж он-то у нас точно Багратионом не был, и все, кто пришел из запасного, знали, что на этот раз он просто не смог отвертеться от фронта – по тревоге подняли весь полк, не разбирая, кто там учил, а кого учили. И зря Рябчиков столько месяцев рвал задницу и прыгал на задних лапках – воевать поехали почти в полном составе, и большинство командиров, особенно молодых, были этому скорее рады. Правда, на Кавказе наш полк разделили, почти всех отправили под Ростов, и лишь одну маршевую роту, то есть нашу, в Новороссийский порт, для переброски под Севастополь. Сначала в пути поговаривали, будто мы следуем на Крымский фронт, – только пока мы ехали, его не стало, целого фронта, навернулся за несколько дней.

– А вы правда из Киева, товарищ младший лейтенант? – поинтересовался Рябчиков.

– Да.

– Я там был. Перед войною. Красивый город. Правда?

– Правда.

Старовольский появился у нас совсем недавно, прямо перед отправлением. Его выпустили из размещенного в Сибири Белоцерковского пехотного училища и поставили на наш взвод. А поскольку командиров не хватало, приказали до прибытия в Севастополь командовать маршевой ротой и сдать ее тамошнему начальству. Правда, рота в пути поуменьшилась, кто-то отстал, кто-то и вовсе дал деру. Меня деревенские ребята тоже подговаривали уйти, прямо как сегодняшние кавказцы. Зачем, говорили, ехать на убой, всё равно войне кранты, зимой вон тоже думали – германцу крышка, а теперь он снова лезет и ничто его не берет. Скоро уса-тый с ним замирится, да только тем, кто поляжет, это по херу будет. Тоже, выходит, были не Ермоловы. Что случилось с ними потом? Может, тоже как тех кавказцев?

Не повезло сержанту Рябчикову, нашему наставнику в нелегкой воинской науке. Орал он, орал – и больше не будет, а ведь до чего внушительно звучало: «Ну, чё, дриstopлясы, гла-зенки повылупили? Берут в армию детей, а молока не дают. Животы и сопли подобрали. Вот ведь, бля, пополнение. Вы же первого немца увидите, пообдрищетесь. А кто похоронки будет писать? Я, сержант Рябчиков? Так ведь я малограмотный, ошибок понаделаю, мамки на меня ругаться станут. Лечь, встать, лечь, встать! В уши премся, команды не слышим?» Поначалу

было забавно – я раньше не видел таких идиотов. Но быстро надоело, в морду сержант мог заехать за милую душу – а потом потихоньку сказать: «А кому не нравится, сгною на губе по уставу, так что выбирайте, сучата».

– А багратионы – это кто? Вроде диверсантов-парашютистов? – зевнув, спросил Старовольского Мухин.

Старовольский не ответил. Мухин обратился не по форме, а стало быть, непонятно к кому. Рябчиков тоже промолчал, поскольку про Багратиона отродясь не слыхивал, это ему не «дростоплясов» на плацу дрючить. Ну а мне с Мухиным говорить резону не было, да еще при командирах.

Мухин был второй нашей общей радостью. Небольшого росточка, кривоногий, с фиксою во рту и колючими глазками, которые то светились безудержной наглостью, то воровато бегали. И в этих глазках отражалась на редкость пакостная сущность. Он был из тех, кто сначала осматривался, а после вел себя по обстановке. Объявился он у нас уже под самый конец, прибыв прямиком из исправительного лагеря, где получил амнистию как доброволец РККА. И началось. У Васки Горохова кто-то сразу спер тушенку, у меня пропал отличный отцовский ножик. Рябчиков с Мухиным осторожничал, нарядами не мурыжил, и они быстро наладили отношения. Пили вместе в каптерке, а на что – надо было бы спросить у них, да вот только никто не спрашивал.

– Елдаши-то наши попритихли, – снова завел пластинку сержант, уж больно ему хотелось пообщаться с лейтенантом. Есть такие люди – из кожи вылезут, лишь бы поближе к начальству, инстинкт у них такой имеется. Был бы я командиром, он бы и передо мною ужом извивался.

– Суки, – поддержал его Мухин.

Старовольский им не ответил, рылся у себя в сумке, что-то искал. Но Рябчиков не унимался.

– По мне, так надо бы еще человек с десятков к стенке поставить, чтоб другим неповадно было. Эх, добрые у нас органы... Вот так-то Керчь немцу и сдали.

Великого стратега Рябчикова под Керчью не стояло, подумал я со злостью. Старовольский тоже разозлился. Поднял голову и буркнул:

– Вы можете помолчать, товарищ сержант?

Рябчиков вздрогнул от неожиданности и пробормотал:

– Виноват.

– Ни в чем вы не виноваты. Но если перестанете тарахтеть, я буду весьма вам признателен.

Рябчиков с Мухиным переглянулись – что-де с такого возьмешь. Но замолчали и, слава богу, никого больше не беспокоили. И это оказалось весьма кстати, потому что за последние дни мы вымотались как черти и страшно хотелось спать. Накрывшись шинелью и обнявшись с вещмешком, я моментально отключился. А утром мы пришли в Севастополь.

* * *

И вновь я почти ничего не увидел. Сначала мы сидели и ждали в трюме, потом выбирались из трюма на палубу, затем сбегали по трапу на пристань и вновь поднимались на борт. Носились туда и обратно раз десять, перетаскивая свое и чужое имущество, всё те же ящики с патронами и провиантом. Попутно узнали последнюю новость, и сообщил ее Рябчиков, услышавший от матросов, что на рассвете, при входе в бухту наш транспорт и сопровождавшие его корабли едва не влезли на минное поле, и крепко нам, стало быть, повезло, проживем теперь дольше обычного.

Потом мы построились в колонну и побрели по тропинке в гору, мимо замаскированных зениток и пробирававшихся узкой дорогой грузовиков. Я оглянулся напоследок, чтоб хоть теперь взглянуть на море, но снова не посчастливилось – обзор загородили бочки, ящики, мешки

с песком. Зато увидел небо, серое и тусклое, словно не было на нем солнца. Однако солнце светило, пробиваясь сквозь дым пожара, и вообще было жарко, настоящее лето, юг.

Возможно, если бы я обернулся чуть позже, выбравшись из лабиринта ящиков и мешков, то смог бы увидеть бухту. Однако мне быстро расхотелось оборачиваться. Позади в кустах хлопнули револьверные выстрелы. Не знаю почему, но я решил – это кавказские командиры для порядка расстреляли своих, не пожелавших ехать в Крым. Обошлись, так сказать, без безопасности. «Господи», – пронеслось у меня в голове старорежимное слово.

– Подтянись! – с неожиданной яростью прокричал Старовольский. – Шире шаг! Каски надеть!

Мы пошли почти бегом, торопясь скорее выбраться к сборному пункту. На ходу срывали вещмешки и освобождали прицепленные к ним каски. Свали в карман пилотку и прикрывали головы килограммом стали (с толщиной стенок два миллиметра).

Появились самолеты. Издалека было не разобрать, немецкие они или наши. Но зенитки открыли огонь. Загремело повсюду: сначала в стороне видневшегося вдали диковинного, похожего на пирамиду сооружения, затем и в других местах. Потом гроыхнували бомбы и повалили дымы.

– Быстрее, ребята, быстрее, – повторял Старовольский, нервно поглядывая на часы и на небо, вмиг ставшее жутко опасным для тех, кто двигался по земле. Мне тоже сделалось не по себе, и, конечно, не мне одному. Хотя сильно страшно еще не было, скорее интересно. С кавказцами куда страшнее вышло. Если, конечно, их на самом деле расстреляли.

Старовольский не зря посматривал на небо – видно, привык в сорок первом не ждать оттуда ничего хорошего. Мы трижды плюхались на дорогу и валялись в пыли, пока над нами проносились ревущие стальные махины. Потом кидались перебежками, озираясь по сторонам. Следом за нами, громко топая, бежали кавказцы.

Видно было, что немцы обрабатывают это место довольно часто – там и сям виднелись каркасы сгоревших грузовиков. Пора бы было испугаться, но пока что обходилось. Мы даже хихикали, вставая после очередной нашей лежки. Наконец добрались до каких-то строений, давно уже разрушенных, где среди цементных плит и выдолбленных в твердой породе щелей укрывались сотни солдат – как и мы, недавно прибывших. Тут же находилось местное начальство, занимавшееся распределением людей и обеспечением их оружием и боеприпасами. Спустя некоторое время – наши истребители как раз отогнали немецкие бомбовозы, и мы отчетливо увидели, как один из немцев, летя на север, задымил, – нам выдали винтовки и патроны. Почти всем в нашем взводе досталось по новой самозарядной Токарева и только пятерым – старые трехлинейки. После этого Старовольский ненадолго отлучился. Спустя полчаса он вернулся с молодым лейтенантом пехоты и матросом, одетым в сухопутную форму, но с бескозыркой на голове. Подозвав к себе старшего сержанта Лобова, еще одного нашего командира, Старовольский представил его лейтенанту. Те о чем-то поговорили и быстро проглядели бумаги. Старовольский коротко сообщил:

– Мой взвод следует за мной, старший сержант Лобов и остальные поступают в распоряжение лейтенанта Гусева. Есть вопросы, товарищи? Ну, тогда до свидания. Быстро прощайтесь, если есть с кем, и идем.

Я мало кого знал из других взводов, только Ваську Горохова и еще двух ребят, так что прощаться долго не пришлось. Мы пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Они за Лобовым и Гусевым, наш взвод за Старовольским и матросом. О том, надолго ли прощаемся, подумать было некогда.

Путь оказался и длинным, и долгим. Сначала нужно было идти по неширокой неровной улице, среди почти сплошных развалин, да еще прижиматься к стене, чтоб с высоты не приметил немецкий летун. Всё было чужое, незнакомое, ненадежное. Попадавшиеся дорогой бойцы и командиры передвигались осторожно, не задерживаясь подолгу на открытых местах. Одно

было хорошо – с матросом сделалось спокойнее. Все-таки он человек был местный, знал, что к чему, не заплутает и с дороги не собьется. Он сразу же назвал себя: «Старший краснофлотец Шевченко». И добавил: «Но не Тарас, а Михаил». И пошел рядом со Старовольским. Тот всё время с ним переговаривался, выяснял обстановку, перестал поглядывать на часы. Рябчиков же, наоборот, занервничал, будто бы боялся остаться не у дел. «Хоть бы старшину завалющего прислали, – сказал он Мухину, – а то надо же, старший краснофлотец, ефрейтор задрипанный».

Когда снова налетели самолеты – один «Юнкерс» и два «Хейнкеля», задним числом объяснил Шевченко, – и мы спрятались в полуразрушенном кирпичном доме, я первый раз по-настоящему испугался. Взрывы громыхнули совсем неподалеку, всё пошло ходуном, мне показалось, что эта руина вот-вот на нас обвалится. В придачу по улице промело из пулемета. Бешено зарокотали зенитки. В воздухе глухо заурчало, и мы не увидели, но ощутили нутром, как над домом пронеслось что-то огромное и ужасное.

– Тяжелая артиллерия проснулась, – прокричал Шевченко. – Завтрак гансы скушали, начался рабочий день.

Мы услышали, как опять громыхнули разрывы, потяжелее, чем от самолетных бомб. Потом свистело и гремело вновь, минут сорок, почти без перерыва, и всё это время я ждал, что нас завалит к чертовой матушке. В голове колотилось: «Боже». Шевченко и тот надел болтавшуюся на поясе каску. Он называл калибры, но я их тут же забывал, одно понимал – большие, и если такая хреновина влепит в наше укрытие, останется от него одно лишь мокрое место. И от нас, понятное дело, тоже.

– Это они по порту лупят, – объяснял Шевченко Старовольскому. – Выгрузку-погрузку сорвать хотят. Только поздно проснулись, главную боевую силу проморгали. – И подмигнул почему-то мне.

– Часто тут так? – спросил Старовольский, когда немного затихло и на улице стали появляться военнослужащие, спешившие по своим делам.

– Раньше спокойнее было.

– Скоро, похоже, опять прилетят?

– Да, долго ждать не придется. До обеда время осталось, а немец свой хлеб отрабатывает честно.

– Собираемся и уходим, – распорядился Старовольский, и мы опять двинулись по разбитой снарядами дороге, всё дальше уходя от порта.

Полуразрушенные улицы, которыми мы брели, вовсе не были пустынными. Мы то и дело натыкались на замаскированные автомобили и полевые кухни, склады и часовых, замечали среди кустов развешанное на веревках – но так, чтобы не обнаружить сверху, – белье и стиральные бинты, не белые уже, а желтоватого цвета. Похоже, до войны тут всё утопало в зелени, да и теперь, когда многие деревья стояли без листвы и со срезанными ветвями, другие зеленели так, словно старались компенсировать утраченное соседями.

– Красиво тут раньше было, – грустно сказал оказавшийся рядом со мною Шевченко. – Про город и не говорю.

– А это не город?

– Северная. Настоящий город на той стороне.

Следовательно, я не только не видел моря, но не видел и Севастополя. Не зря мне сразу показалось, что это больше похоже на поселок, чем на знаменитый город, основанный Александром Суворовым в 1783 году – дату я помнил еще со школы. Про Северную сторону мне тоже было известно. Сюда во время первой обороны отошла наша, то есть не наша, конечно, а царская армия. По наплавному мосту. Лев Толстой в своих рассказах тот переход описал – как медленно шли в ночи, как каждый вздыхал и грозился врагу. Первая оборона на этом и кончилась, на Северную французы с англичанами не полезли. Теперь, получалось, линия фронта была другой – удаляясь от бухты на север, мы от передовой не уходили, а к ней приближались.

И война теперь стала другая, хотя и тогда было страшно, об этом у Льва Толстого тоже немало написано.

Я спросил у Шевченко (Старовольский был занят служебным разговором с Рябчиковым):

– Вы и зимой тут были? – сказать ему «ты» язык не повернулся, хоть «выкаты» среди солдат не принято, среди матросов, вероятно, тоже.

– Угу, – ответил тот.

– А я впервые на фронте. Первый день – и сразу... Или сегодня это так, несерьезно?

– Серьезно, вполне. На то он и фронт. Привыкнешь.

И едва он это произнес, снова начали бить зенитки – а вслед их грохоту появились опять самолеты. Лейтенант, Шевченко и кто-то еще – возможно, Рябчиков, а возможно, я сам – проорали «Воздух!», и все мы попадали на землю, вдавливая в нее головы, руки и ноги. Сверху на нас посыпалась пыль, земля, штукатурка. Горячей волной прошлось по спине от совсем уже близкого взрыва, то ли третьего, то ли четвертого за какую-то пару секунд. А когда оглохшие, в побелевших гимнастерках мы поднялись, двое остались лежать. Один был жив и громко стонал, это был красноармеец Сафонов, другой же – совершенно неподвижен, и это был Рябчиков. Шевченко, склонившись над ним, обнаружил на шее, между воротом гимнастерки и каской, маленькое отверстие над покрасневшим подворотничком. Показал нам пальцами:

– Вот такой осколочек...

Мы с Мухиным перевернули тело. Рябчиков был мертв, сомневаться не приходилось. Старовольский стянул с головы пилотку. Потом сказал:

– Надо помочь раненому. Аверин, справитесь?

– Так точно.

Я поспешно и ни на кого не глядя достал индивидуальный пакет. Руки паскудно тряслись. Пришло то, чего я давно боялся, – большой настоящий страх. Пришло и проняло до печенок. Из раны в боку Сафонова сочилась густая кровь. Кто-то помог мне его приподнять и наложить бинты. Он больше не стонал, но дышал тяжело, широко разевая рот, как рыба на берегу. Шевченко тем временем нырнул между деревьями и вскоре возвратился с двумя пожилыми красноармейцами и неуклюжим на вид младшим сержантом. Объяснил – раненого отнесут в медсанбат, Рябчикова похоронят прямо здесь. Нам же надо спешить, еще идти и идти. Старовольский кивнул, забрал документы Рябчикова и, написав на вырванном из блокнота листе звание, фамилию, год рождения и день гибели, отдал бумажку младшему сержанту. Тот сунул ее в карман и попросил не беспокоиться, всё будет по-человечески.

– Отговорила роща золотая, – пробормотал наш Мухин и украдкой перекрестился.

– Продолжаем движение, – распорядился младший лейтенант.

Старший лейтенант флота Сергеев. Род. 1915

Ждать Шевченко и команду, за которой он был послан, пришлось гораздо дольше, чем я думал. Когда они наконец появились в траншее и обогнавший всех Мишка доложил о прибытии, я посмотрел на часы и заметил:

– Запаздываешь, приятель.

Тот обиженно пожал плечами.

– Как тут не опоздать, товарищ старший лейтенант? Немец два часа по бухте херачил, самолеты, артиллерия дальнобойная, несколько раз отлеживались. Это же не с фифами по бульвару гулять.

– Ладно, не дуйся. Понимаю, не по бульвару.

Шевченко был интеллигентным матросом и все окопные неологизмы образовывал от основы «хер», в то время как его товарищи, да и я, что греха таить, прекрасно обходились без подобных эрзацев. Я знал Михаила пять лет. Сначала новобранцем, мотавшим на ус военно-

морскую премудрость, потом «старым опытным матросом» – как он называл себя сам, не дослужившись до старшины. Когда в августе набирали в морскую пехоту, мы вновь оказались вместе – с ним, с Левкой Зильбером и с парой десятков других. Теперь нас осталось немного, во всяком случае, под Севастополем, – и хорошо, если те, кого нет, выбыли по ранению.

Прибывшего с ним пополнения было двадцать пять человек, прямо скажем, не густо, хотя обещали стрелковый взвод, почти полного состава, только что без минометчиков. Умный Бергман сразу сказал: взвод полного состава – это утопия; но я до последнего сохранял оптимизм. Теперь они выстроились в три ряда на просторной по окопным меркам площадке и ждали, когда я закончу разговор с Михаилом.

Я повернулся к ним. На душе заскребли кошки. Ни одного сержанта и даже ефрейтора, все, кроме командира, красноармейцы, и сразу видно – зелень. Обвешаны, как верблюды, морды усталые, бледные, пот в три ручья. Их бы поставить на котловое да распустить, но я знал, распустить не получится. Часть придется послать расчищать засыпанную траншею в левом секторе, часть – направить на дежурство, чтобы сразу привыкали к позициям и службе. Двоих – в наряд, двоих в ночной секрет. Последние хоть отдохнут сначала, если немец позволит. А он не позволит, будет вести огневой бой, мы будем отвечать, и если мне без такого аккомпанемента давно уже не спится, беспокойно как-то и ждешь всякой пакости, то им еще придется привыкать.

Настало время знакомиться. Ко мне как раз подошел их младший лейтенант, среднего роста, в новой еще гимнастерке, португепя, кобура – все, как положено, кроме разве что возраста, уже не лейтенантский, лет тридцать, как и мне. Лицо строгое, с оттенком печального добродушия. Поднеся руку к пилотке, отрапортовал – или скорее представился:

– Младший лейтенант Старовольский. Прибыл в ваше распоряжение со стрелковым взводом в составе двадцати четырех человек. Было двадцать шесть. Один ранен, один убит. Вооружение...

– На фронте раньше были? – перебил я его. Не потому, что я невежливый, просто вооружение я и так видел – «СВТ» и трехлинейки. В первую очередь надо о человеке узнать.

– В прошлом году, товарищ старший лейтенант. Под Запорожьем, потом под Ростовом. После ранения прошел ускоренные курсы.

Я испытал облегчение. Впрочем, мало ли народу бывает на фронте, в особенности возле фронта, а ранение получить можно и в двадцати километрах от передовой. Но всё же лучше, чем ничего. Будет время, расспрошу подробнее.

– Под Запорожьем? Значит, почти земляки. Мы в Одессе были тогда.

Старовольский кивнул. Было видно, что он не из тех, о ком корреспонденты пишут «военная косточка», и всё-таки стало ясно, что здесь он человек не случайный и зря свой паек есть не станет.

– Хорошо, лейтенант, – для краткости я повысил я его в звании. – Если вы не против, будем на «ты».

– Не против, – ответил он.

– Говоришь, потери? Как звали убитого?

– Сержант Рябчиков. Евгений.

– Пал, защищая Севастополь, вечная, значит, память. Надо родным написать. Не про Севастополь, конечно.

– Напишу.

Теперь было нужно выяснить главное. Я снова посмотрел на стоявшие передо мной три короткие шеренги и тихо спросил:

– Народ, я вижу, совсем зеленый?

– Почти все из запасного полка. Двое из госпиталей, один, как бы это сказать, доброволец из этих... Блатных, одним словом. Но вроде спокойный.

– Понятно, видел таких. Если что, перевоспитаем. Ну, давай будем знакомиться с личным составом. Список при тебе?

– Пожалуйста.

Я взял в руку светло-зеленый листок и командным голосом произнес:

– Здравствуйте, товарищи бойцы!

Ответили бойко. Этому научились. И еще наверняка маршировать под барабан, только неизвестно, когда теперь снова придется. Надо было сказать что-нибудь ободряющее, тем более что из блиндажа выглядывал Бергман и они уставились на его капитанскую шпалу. Сказать, а потом провести перекличку.

– Я рад, что теперь мы будем служить с вами вместе. Защищать нашу батарею, которая страшно фашисту не нравится. Очень не любят фашисты нашу батарею. Они вообще не любят наших батарей. Потому что дают они прикурить им по первое число. Уяснили? А теперь по списку...

И я громко выкрикнул:

– Аверин!

– Я!

– Бухарцев!

– Я!

– Владимиров!

– Я!

– Воробьев!

– Я!

Пока были в наличии все буквы алфавита. Надолго ли? За Воробьевым следовали Горбатов, Дорофеев, Дьяконов. Затем шли Езеров, Жучко, Задворный. После Иванова, а Иванов так присутствовал, стоял Исмаилов – и интересно было, татарин он или нет, а если татарин, то из каких, поволжских, сибирских, наших? Косых, Кузьмук, Лукьянов, Мирошниченко. Последний, видать, из переселенцев – или из спецпоселенцев. Имелся тут и наш человек – Федя Молдован. Я был рад, что попадет он к Левке Зильберу, земляк он есть земляк. Жалко, что стоял Молдован в третьей шеренге, не разглядеть, но голос не детский, похоже, он-то и прибыл из госпиталя. А вот Мухин, по роже видно, как раз и был тот самый, из блатных, ему направление к Левке несомненно пойдет на пользу.

На «о» никого не нашлось. Зато на «пэ» имелся красноармеец Зиновий Пинский. Ел меня глазами из первой шеренги и не догадывался, какую проблему создает для ротного командира. Состояла же проблема в том, что направить его к Левке означало подвергнуть жестокому испытанию, поскольку старшина второй статьи Зильбер придерживался малообоснованного мнения, будто еврей в Красной Армии и на флоте должен быть примером для подражания. В случае же с бойцом из отдаленных от Черного моря мест приобретала значение иная особенность Зильбера, а именно искреннее верование, что евреи, проживающие севернее Ольвиополя и восточнее Снигиревки, – исключительные шлимазлы. С другой стороны, передача Пинского в руки старшины Лукьяненко, а этого в принципе не стоило делать, чтобы не дробить подразделения, тоже не сулила ничего хорошего, поскольку Лукьяненко всячески стремился доказать Зильберу ошибочность первого тезиса, но пока за неимением подручного материала изошрялся только на словах. Когда начнется немецкий штурм, вся эта ерунда потеряет значение. Но штурм еще не начался.

Следующую фамилию я разобрал не сразу. Оказалось – Пимокаткин. Еще один кандидат в мой блокнот, в любимую мною графу, куда я вписывал для памяти забавные и необычные имена. Забавная фамилия была и у Плешивцева. Плешивцев этот стоял в первой шеренге, немолодой уже с виду, битый – тоже, видно, пришел из госпиталя. Боец на «эр», старший сержант Рябчиков, выбыл навсегда и отовсюду, на «эс», красноармеец Сафонов, выбыл по крайней

мере от нас. На «тэ» шел Терещенко, в замыкающих числились Усов и Черных. На «я» никого уже не было, и удивляться не приходилось, поскольку букв в русском алфавите тридцать три, а бойцов всего двадцать четыре. Теперь осталось составить со Старовольским новый список – кого в какое отделение, поставить людей на довольствие, разослать по работам, а лейтенанта ввести в курс дела. Если Бергман ничего не захочет сказать.

Бергман ничего не сказал. Лишь поприветствовал бойцов, назвав свое имя и должность. Ему было не до разговоров, дел, как всегда, невпроворот, а на вечер вызывали в полк. И его, и меня. Потому что скоро будет штурм. Но не сегодня, это точно, и не завтра. А дальше – неопределенность. Я последний раз поглядел на бойцов и скомандовал: «Разойдись».

Красноармеец Аверин

Старший лейтенант Сергеев сказал: «Разойдись», Старовольский повторил – и мне захотелось повалиться на землю. Хорошо, хоть разрешили сесть в окопном закутке, съесть сухой паек. Тут бы обед не помешал, но раньше ужина ничего не светило, да и с ужином было неясно – будет он или нет, нам ничего не сказали. Пока шли через прореженный снарядами лесной массив, я сбил себе ноги и как волк проголодался. Зато получил массу впечатлений и узнал много нового. Новых запахов и звуков, например. Один гул и треск чего стоил, не прекращался ни на минуту, только стихал в одном месте, чтобы усилиться в другом, – и я понимал, что скоро не буду обращать на него никакого внимания.

Пока Старовольский с моряком обсуждали наши (а чьи же еще?) дела, мы расположились под маскировочной сеткой на пустых снаряжных ящиках, достали сухари, консервы и приступили к еде. Я приглядывался к Мухину – не мелькнет ли вдруг мой ножик, но Мухина заслонил Молдован, здоровый парень, выписанный из новосибирского госпиталя и присоединившийся к нам по пути. Вскоре ко мне подошел Шевченко (вместо бескозырки на нем была теперь пилотка), и с ним еще двое. Хотя они тоже были в пилотках, я сразу понял – краснофлотцы.

– Это ведь ты Аверин? – спросил меня Михаил. – Могу поздравить, будешь в моем отделении. Я слышал, как вас каплей с младшим расписывали. Ты, Пинский, Пимокаткин... Рад?

– Ну, рад, – ответил я, не очень уверенный в том, как оно на самом деле. С одной стороны, Михаила я знал и парень он был ничего, так что лучше служить вместе с ним, а с другой – пес их поймет, что у них на уме и какой этот Шевченко отделенный.

– А кто у нас Мухиным будет, не скажешь? – тихо шепнул вдруг Шевченко.

Вот кто их на самом деле интересовал. И попал он, значит, в то же отделение, что я. Есть чему порадоваться, нечего сказать. Я легонько мотнул головой в сторону Мухина, жевавшего в стороне тушенку с белым хлебом – интересно было, где он его спер.

– С виду мелкий фармазонщик, – авторитетно сказал один из краснофлотцев, слегка чернявый, с носом из разряда орлиных.

– Посмотрим, – ответил Шевченко. – Кстати, знакомься. Костя Костаки, – показал на носатого. – И Саня Ковзун. – У этого волосы были посветлее, глаза тоже, и сам он был пошире и на вид добродушнее.

Я протянул руку.

– Алексей. Тушенку будете?

– Поели уже. А Молдован у вас кто?

– Вон тот.

– Не салага, сразу видно.

По всему выходило, что «салагой» был я и приписанные к моему отделению Пинский и Пимокаткин. Конечно. Хотя вслух краснофлотцы этого не сказали и нос свой не задирали – даром что у Костаки имелось что задрать. Но поглядим, как будет, когда до службы дойдет. Я слышал, что такое на флоте «салага».

– Ладно, – сказал Шевченко. – Пойду познакомлюсь с товарищем предметно. И направился к Мухину.

– Привет, пехота. Я Шевченко, хоть и не Тарас.

– Слышали уже, – ответил тот, сосредоточенно наматывая на ложку тушеночные волокна.

– Ты сам откуда будешь?

– Сейчас из Барнаула.

– Знаю, Сибирь. Западная, да? Что там делал?

– Чё надо, то и делал. Только я не из Сибири, а коренной москвич. Потому имей в виду, надо будет чё в Москве – помогу.

– Всё ясно. Ну, бывай.

Оставив Мухина в недоумении дожевывать паек, Шевченко вернулся к нам, вполне удовлетворенный «предметным знакомством». Теперь его внимание привлекла моя самозарядная подруга.

– Сегодня выдали?

– Ага.

– Стрелял из такой?

– Раз только, нас больше с трехлинейкой учили. И с «дегтяревым» немного. Рябчиков хороший был стрелок. Бил «в самую дырочку». Это он сам так говорил.

Вот и про Рябчикова нашлось у меня доброе слово. Прошло лишь несколько часов, и стал сержант другим человеком. Мертвым, зато положительным.

– Така крашче як трюхлынийна будэ, – сказал Саня Ковзун.

– Если не заест, – добавил Костаки.

– А заедает? – встревожился я.

– Бывает, – подтвердил Шевченко. – Так что имей в виду и при случае обзаведись чем-нибудь еще. Тут всё сгодится. Во, гляди, какая у меня техника.

Я уважительно поглядел на основательно вычищенный ППД.

– Случаев у нас тут бывает достаточно, – проговорил Костаки. И я сразу понял, о каких таких случаях речь, – винтовки Рябчикова и Сафонова мы всю дорогу несли по очереди.

Тут поверху крепко шибануло, шут его знает чем, кажется, хорошим снарядом. На нашу сетку, а сквозь нее на нас посыпались камешки, песок и мелкие древесные сучья. Шевченко вздохнул и встал.

– Товарищи гансы выпили послеобеденный кофе. И эти люди хотят, чтоб я к ним хорошо относился.

Не знаю, с чего Шевченко взял, будто немцы ждут от него хорошего отношения, однако подумать об этом я не успел. Нас окончательно разобрали по отделениям, и помкомвзвода, старшина второй статьи Зильбер, повел назначенных на работы, в том числе меня, Молдована и Мухина, на стрелковую позицию, показывать, что и как. Вместе с нами пошел Старовольский, ставший теперь командиром взвода в роте старшего лейтенанта Сергеева. Наша служба на плацдарме началась.

Татарское вино Курт Цольнер

Двадцатые числа мая 1942 года

Вскоре после отъезда итальянского корреспондента, перед самым ужином, последним ужином в учебном лагере, несколько сотен человек выстроились в поле за колючей проволокой, что ограждала бараки, плац, склады и спортплощадки. Туда же конвоиры из второй роты вывели Петера Линдберга. Вконец отощавший, он едва передвигал ногами и выглядел полным лунатиком. Когда он проходил мимо нас – мы с Дидье стояли в первой шеренге и на мгновение он оказался очень близко, – лицо его не выразило абсолютно ничего. Сопроводив его презрительным взглядом, капитан Шёнер обратился к младшему фельдфебелю Брандту:

– Это ведь ваш человек?

– Так точно, господин капитан, – осторожно, словно бы чего-то опасаясь, ответил младший фельдфебель.

– Действуйте.

Думаю, не один я заметил, как у Брандта посерело лицо.

– Господин капитан, – медленно проговорил он, с несвойственной ему растерянностью оглядывая наш строй.

– Вы должны служить примером дисциплины, – отрезал капитан. – Выполняйте.

– Слушаюсь, – рявкнул Брандт, свирепо глядя ему в глаза, и молниеносным движением выдернул из кобуры свой «люгер». От стоявшего в отдалении Петера его отделяло метров пятьдесят. Он прошел их твердым, нарочито твердым шагом, жестом велел конвоирам отойти, быстро сделал то, что от него требовалось, и так же быстро вернулся назад. Проходя мимо нас, всё еще с пистолетом в руке, негромко бросил: «Чего уставились? Это уже не человек, а растение. Хотели бы, чтоб оно дальше мучилось? То-то же, бойцы».

* * *

На следующий день нас рассадили по грузовикам, и мы отправились в свои части. В кузове Дидье, непривычно бледный и мрачный, вытащил фляжку и, произнеся: «Был юный Петер, и нет юного Петера», разлил по кружкам ром, не пролив ни капли, хотя машину порядком трясло.

– Дико как-то всё это, – пробормотал один из нас.

– Тут есть свой *raison*, – возразил другой, из молодняка, простой белобрысый парень, по виду из рабочих, даром что щегольнул французским словом. – Ты бы хотел оказаться вместе с таким в бою?

– Ага, или в разведке, – произнес Дидье не очень хорошим голосом. Но белобрысый парень на голос внимания не обратил и согласился:

– Ну да, или в разведке. Представляете? Это же война, тут свои законы. И что его ждало? Трибунал и штрафной батальон? Так ведь оно, говорят, еще хуже.

Я молча выпил.

* * *

Дорога была знакомой. Правда, мне никогда не доводилось видеть ее летом, когда всё вокруг цветет и зеленеет – трава вдоль шоссе, убегающие вдаль ряды плодовых деревьев, пирамидальные тополя, липы и еще какие-то деревья, породу которых я, не будучи ботаником,

определить не мог. Осенью, когда мы вторглись в Крым, и потом зимой местность выглядела совершенно безотраднo. Особенно зимой – грязь, слякоть, бешеный и мокрый ветер. Не говоря о том, что тогда всё давалось с боем, повсюду таился враг, а теперь он остался только на юго-западной оконечности полуострова. Прижатый к морю и, по существу, обреченный.

В потоке прочего транспорта, в изобилии двигавшегося в сторону Севастополя, мы относительно быстро миновали равнинную часть Крыма. Начались пока еще невысокие горы, болезненно напомнившие мне те, что окружали наш город. Не столько своей похожестью – было бы уместнее говорить о различиях, – сколько каким-то общим настроением. Возможно, самым фактом, что ландшафт перестал быть плоским, став более похожим на тот, к которому я был привычен с детства.

Мы объехали крымскую столицу Симферополь и добрались до железнодорожной станции, расположенной у реки, памятной по одной из первых битв давней Восточной войны. Кажется, союзники разгромили здесь русскую армию – иначе какой был смысл называть именем этой речки парижскую площадь и парижский же мост? Впрочем, как насмешливо высказался Дидье, с французов станется – кто знает, не назовут ли они свои будущие площади и мосты в честь Дюнкерка и Мажино. Мы рассмеялись, хоть мне и тем более Дидье было немного жаль невезучих французов – так глупо для них обернулась война. «Это из-за поляков, – объяснил белобрысый пролетарий. – Западной цивилизации всегда приходится страдать из-за славян». Его сосед, тоже из «молодых», уточнил: «Не забывай про американскую плутократию и еврейских воротил лондонского Сити. Истинными поджигателями выступили именно они». Чувствовалось – парни основательно подкованы. Во всяком случае, выражались вполне литературно и обладали приличным запасом слов.

Русские штурмовики появились неожиданно. Запоздало загавкали привокзальные зенитки, и тут же над станцией полыхнуло огнем из внезапно разорвавшихся цистерн. Вдогонку донесся грохот. Грузовик затормозил. Мы повыскакивали на землю.

– Быстро в кювет, а лучше еще дальше! – закричал я новичкам, освоившим в лагере основы пехотной науки, но с авианалетами знакомым лишь теоретически. И сразу же бросился в сторону от дороги, туда же, куда улепетывали ко многому привычные водители.

Более чем вовремя. Едва я перескочил через канаву и взял курс на группу высоких деревьев, у подножия которых цвел неизвестный мне кустарник, как меня резким толчком приподняло в воздух и швырнуло на землю в паре метров от места, где я только что находился. Хорошо хоть не о деревья, иначе бы я больше не поднялся. Потеряв на время слух, я вжался в землю и пополз к кустам. Я не слышал разрывов, но пространство передо мной несколько раз освещалось неестественно ярким светом, и это придавало мне сил, заставляя из последних сил работать коленями и локтями. Лишь ощутив над головой лиственный покров – сугубо визуальное, но всё-таки прикрытие, – я рискнул обернуться и посмотреть, что творится на шоссе. И, как следовало ожидать, ничего хорошего не увидел.

Наши машины сиротливо стояли посреди обезлюдевшей трассы. Головная, переломившись надвое, бешено полыхала бензиновым пламенем. У другой, через одну от нее, болталась, словно на тонкой нитке, сорванная дверь водительской кабины. У следующей опасно дымился натянутый над кузовом брезент, вероятно простреленный зажигательными пулями.

Слух вернулся ко мне не сразу, и я не сразу услышал рев пролетающих над нами самолетов. Зато дорожки от пулеметных очередей, которые трижды чуть ли не вплотную стремительно приближались ко мне, я видел слишком хорошо и каждый раз в панике вдавливал в землю лицо. Когда же уши вновь стали выполнять доверенную им природой функцию, до меня одновременно донеслись треск пламени, уханье дальних разрывов, предсмертное ржанье раненой лошади и пронзительный человеческий вой.

Вой исходил от шоссе. В какой-то момент, когда рассеялся дым и ненадолго осела пыль, я разглядел лежавшее на обочине тело. Оно не было мертвым, дергались руки и ноги, припод-

нималась и падала вновь голова. Неожиданно для себя я пополз к дороге, заметив по пути, что ползу не один. Но вновь промчался самолет, швырнул бомбы, и мы опять вдавились в землю, пережидая, когда прекратятся разрывы и свист пролетающих пуль. И каждый раз, когда они смолкали, вновь и вновь раздавался вой.

Наконец всё стихло и мы сумели добраться до раненого. Им оказался тот самый белобрысый парень, что поутру рассуждал о *raisons*. Еще живой, он смотрел на нас невидящими глазами, издавая уже не вой, но всё более тонкий свист. Дидье, разорвав индивидуальный пакет, пытался остановить ему кровь, кто-то звал на помощь, шоферы, ругаясь, осматривали повреждения, возглавлявший нас лейтенант озабоченно распределял по другим машинам бойцов из уничтоженного грузовика. Появились санитары, крепкие ребята, вооруженные брезентовыми носилками. Забросив на них дергавшееся тело, один покачал головой – не жилец. Приятель белобрысого оторопело стоял возле нас, среди расплзавшихся по грунтовому покрытию и стремительно бледневших на солнце кровавых пятен. Рот его был раскрыт, глаза вытаращены, а руки бессильно свисали вдоль бедер. Прошлым летом мы тоже бывали такими – не знавшими, как реагировать на чужую боль, на смерть, и с ужасом ощутившими вдруг, что и мы вполне можем оказаться на месте тех, кто вот так, прямо сейчас, уходит и уже не вернется. Но привыкли довольно быстро.

– Хватит тарашиться! – раздался голос старшего по машине. – Садимся и едем.

Мы поплелись к грузовику. Дидье похлопал «молодого» по плечу.

– Держись. Бог даст, пронесет.

Залезши в кузов, тот потом всю дорогу молчал, не встречая в наши разговоры и не облачая трусов, предателей и поджигателей войны. Что, в принципе, было не так уж плохо, если бы не цена. Но на войне дорого платишь за всё, даже за подобную мелочь.

* * *

На русском юге темнеет быстро, и до расположения нашей части мы добрались в глубоких сумерках. Оставив грузовик, отправились по ходам сообщения на поиски третьей роты, которую, по счастью, отыскивали без особого труда. Обнаруженный нами в просторном блиндаже командир второго взвода старший фельдфебель Греф был откровенно нам рад.

– Явились, красотцы? Ну, теперь пойдет служба. Сегодня, так и быть, высыпайтесь, а завтра в дозор. Выпьете?

Что Греф сделался старшим фельдфебелем и командует взводом, я узнал еще от Дидье, при мне взводным был Кригер. Но Кригера смертельно ранили в феврале, и наш бывший отделенный Греф пошел на повышение. Он забыл, как меня зовут, и несколько смущался – начальнику положено знать подчиненных. Поэтому Хайнц, обращаясь ко мне, постарался вернуть мою фамилию и имя.

– Давай, Цольнер, правда выпьем. После сегодняшнего есть за что. Так ведь, Курт?

– Верно, Цольнер, надо выпить! – оживился Греф. – Пиво дрянь, но другого нет. А что у вас стряслось?

– Русские штурмовики, – объяснил Дидье.

– Все живы?

– Один. Как раз с нами ехал. Молодой.

– Это еще по-божески. Тут недавно такое было...

Мы посидели с ним часа полтора, изредка прислушиваясь к звукам вдруг возникавшей ночной перестрелки, узнавая последние новости и наводя справки о наших товарищах. Их стало значительно меньше. Райнхарда и Цвибеля убили, Шток, Мартенс, Ульман, Гайер и Фрич выбыли по ранению.

– Мартенс точно не вернется, – посетовал Греф. – После такого долго не живут. Даже не верится, позавчера пили спирт.

– Разбавленный? – поинтересовался Хайнц, уводя разговор от тягостной темы.

– А как же? Мы ведь не русские свиньи. Цивилизация. Хотя я готов теперь и неразбавленный пить. Как, кстати, молодняк? Что-то они мне не показались.

На новичков, пришедших с нами – всего три человека, направленных в наш взвод, – Греф даже не взглянул, сразу же отправив спать, чтобы заняться воспитанием после подъема. А скорее чтобы просто не мешали выпить пива и пообщаться со старыми знакомыми. Но вряд ли они спали, наш разговор не мог не привлечь их внимания, да и впечатления дня были для них пока слишком сильными.

– Нормальные ребята. В лагере бегали не хуже других.

– Хе, – рассмеялся Греф. – Вы же у меня прямо из лагеря. Законченные профессиональные убийцы. И чему вас там учили?

– Гимнастике, – буркнул я.

– Спорт вещь полезная, спорить не буду. Кто там теперь заправляет? Шёнер, поди?

– Начальником был майор Бандтке, Шёнер его заместителем и командиром нашей роты.

– Странно, я думал, что Шёнер уже выслужился. Драл нас когда-то как коз, плевать хотел, что мы были унтерами, а он сопливым лейтенантом. Такой не пропадет.

– Выслужится еще, – буркнул со злостью Дидье.

– Вам, видно, тоже досталось, – предположил не без удовольствия Греф. – Да ладно, каждый делает свое дело. Главное – делать его хорошо. Верно?

– Угу, – согласился я. Похоже, слава Шёнера была давнишней, но некоторые из его педагогических приемов родились совсем недавно и Греф о них не знал. Или не считал нужным говорить, что знает. Однако «профессиональные убийцы» задел. И меня, и Дидье.

* * *

Встав поутру, мы встретили пулеметчика из нашего отделения Отто Брауна. Обвешанный запасными патронными лентами, он возвращался с ночного дежурства. Здоровый и в меру добродушный гессенец был выше нас на полголовы, и Дидье в свое время прозвал его Оттоном Великим. Отто не возражал – ни против прозвища, ни против признания собственного величия. Увидев меня и Дидье, он потряс нам руки и с ходу сообщил, что мы приехали вовремя, потому что скоро Севастополю крышка и мы как раз успеем настучать русским свиньям по башке.

– Слышали ночью, я их поливал? Ползали, сволочи, у самых заграждений. Будете вечером свободны, выпьем. Спать хочу, как собака.

Однако спать он не лег, принявшись вместо этого бриться вместе с нами под аккомпанемент окончательно проснувшегося фронта. Потом же, когда, прихватив с собой новичков, мы отправились в батальонную канцелярию, чтобы доложить и встать на довольствие, Отто потащился за нами, радостно излагая последние новости. В итоге ему пришлось пережить жестокую и незаслуженную обиду.

Вышло так, что в канцелярии мы простояли минут двадцать, дожидаясь, когда освободится новый, незнакомый нам писарь – бледный, длинноносый и ушастый старший ефрейтор в очках, которого офицеры при нас несколько раз называли Отто («Отто, принеси то, Отто, принеси это, Отто, перепиши так, Отто, запиши сяк»). Рассудив, что перед ним тезка, Браун последовал их примеру и, когда старший ефрейтор, наконец, обратил свой взор в нашу сторону, весело заявил:

– А теперь, Отто, ты займешься нами.

Давно я не видел столь сурового выражения лица. Если капитану Шёнеру для убийства понадобилась помощь вооруженного «люгером» Брандта, то этот тип был способен убить человека взглядом. Негодуяще оглядев нашу компанию, он проскрипел голосом будущего доктора юриспруденции:

– Ежели вам угодно называть меня по фамилии, извольте говорить «господин Отто».

Произнеся эту фразу, заставившую проверенного в боях пулеметчика изумленно вытаращить глаза, старший ефрейтор встал и очень быстро удалился. И лишь спустя четверть часа, вернувшись и снова усевшись за стол, занялся нашими документами, что-то недовольно бурча и выискивая взглядом Брауна, который после случившегося предпочел оставаться на воздухе.

– Вот ведь индюк! – бормотал он на обратном пути, пробираясь под маскировочной сеткой, прикрывавшей ход сообщения. – Откуда мне знать, что у него такая идиотская фамилия? Нет чтоб объяснить по-человечески да посмеяться. «Извольте говорить...» Попадется он мне в тихом месте теплым вечером...

– Не подавай дурного примера молодежи, – предостерег его Дидье. – Что же касается этого чурбана, то, думаю, он развлекается этим лет примерно с пятнадцати.

– С момента, когда он обнаружил, что его не любят девчонки, – уточнил я.

– Так что предлагаю разойтись, – продолжил Хайнц, – а вечером, если Греф не загонит нас на службу, отметить счастливое возвращение и встречу старых друзей.

Но Греф, разумеется, загнал нас куда следовало и гораздо дальше. Весь день мы приучали пополнение к окопной жизни, занимаясь с ним шанцевыми работами, а потом до утра проторчали в секрете, удивляясь, насколько холодной может быть ночь после невыносимо жаркого дня. В результате выпить с Брауном удалось только на следующий вечер. Причем, к раздражению Отто, не в самом тесном кругу – не ко времени оказавшийся рядом Греф с удовольствием к нам присоединился.

– Рекомендую, – говорил он, – разливая по кружкам принесенное Брауном вино, красное с черным отливом. – Покупаем тут у одного татарина. Они сами вина не пьют, но делают совсем не плохо.

– Чтобы спаивать потом немецких гяуров, – предположил Дидье.

– Не надо так говорить, – встал Греф на защиту освобождаемых народов России. – Ведь мы тут меньше года. Следовательно, вино предназначалось не для нас, а для русских большевиков, а еще раньше – для царей и их слуг.

Хайнц задумчиво покачал головой.

– Довольно интересная коллизия, – заметил он. – Британские колонизаторы использовали крепкие напитки, чтобы в корыстных целях спаивать туземцев, а тут всё наоборот: туземцы спаивают колонизаторов. Вопрос: является ли это проявлением корыстолюбия, или же перед нами утонченная форма антиколониальной борьбы?

– За что будем пить, умник? – перебил его Браун, уставший держать в руке алюминиевую емкость.

– За диалектику, господин Отто, за диалектику, – объяснил ему я. Мы рассмеялись, в том числе и Греф, понятия не имевший, что означало обращение «господин Отто». Возможно, ему понравилась «диалектика». Как ни крути, Гегель – это понятие.

Мы осушили кружки. Вино приятно разлилось по жилам. Мне подумалось, причем не первый раз, что здесь, в условиях, в каких никто по доброй воле не окажется, поводов для радости находишь порою не меньше, чем в мирной жизни. Ты рад, что сегодня будешь спать, а не торчать в дозоре. Что бьющий в отдалении пулемет стреляет не по тебе, а гул пушек далек и не угрожает твоей безопасности. Что не проносится над головой строчащий бешено штурмовик, что не горит под ногами бензин и не стоят поблизости виселицы с саботажниками и лесными бандитами. И пьешь ты не мерзкую бурду вперемешку с песком, которая только символизирует кофе, а приличное татарское вино, и рядом с тобой друзья, а не капитан Шёнер

или спесивый болван по фамилии Отто. И ты по-прежнему жив, и штурм, которого все ожидают, не начался, и если начнется, то начнется не завтра. А значит, у тебя, в отличие от Петера Линдберга или белобрысого пролетария, имени которого ты уже не узнаешь, еще будет шанс отведать вина. Татарского, русского или еврейского – какая, к чертям собачьим, разница? Не так уж мало, право слово.

– А теперь – за удачу! – предложил Греф. – Спорт в нашем деле, конечно, штука нужная, но без удачи ничего не стоит. Мина не знает, что ты сильный и ловкий, – долбанет, и кишки наружу. Верно?

– Верно, – согласился быстро хмелевший Браун. – А бывает, попадет так, что лучше некуда. Как Хорсту. Списали вчистую, а всё на месте, кроме самой малости, но девкам до нее и дела нет. Теперь попивает пивко и плевать хотел на весь этот бардак.

– Что я слышу, старший стрелок? – ехидно прищурился Греф. – Попахивает пациф...

– За удачу так за удачу! – перебил его Дидье.

– За удачу, – присоединился я.

Когда вино окончилось и Греф поспешил нас покинуть, Отто не удержался от проявления недовольства.

– Дослужился до взводного, так мог бы и не выпивать с рядовым составом.

Дидье не согласился:

– Он тоже человек. И к тому же наш товарищ.

– А если товарищ, то мог бы угостить. Товарищ... Как в наряд, так командир, а как пить на дармовщинку...

Продолжая ворчать, он завалился на спальную полку. Дидье последовал его примеру, а я нащупал в кармане три письма, переданные мне сегодня из канцелярии. Времени прочесть их до сих пор не нашлось, но впереди была целая ночь (если, конечно, русские не устроят артналет или другую пакость). И это тоже радовало.

Первые радости Красноармеец Аверин

Двадцатые числа мая 1942 года, седьмой месяц обороны Севастополя

Старшина второй статьи Зильбер был мужчина крупный и серьезный, с атлетическими плечами, могучим, в командирских бриджах задом и носом Ильи Эренбурга. И таким же грозным, как тот. Когда Старовольский ненадолго отлучился, старшина, демонстрируя нам кулак величиной с не самый маленький арбуз, произнес небольшую речь:

– Третий взвод, слушай сюда. Попрошу помнить: я против рукоприкладства и прочих мер воздействия на личный состав, не предусмотренных уставами РККА и РККФ. Но если кто туточки думает валять дурака, то я имею первый разряд по боксу. В полутяжелом весе.

«Проверим», – прошептал у меня за спиной Мухин, а я подумал, что в лице Зильбера на нашу голову свалился еще один Рябчиков, в полутяжелом весе и тельняшке.

Мы стояли на дне траншеи, там и сям потрескивали выстрелы, изредка ухали пушки, грохотали вдали разрывы – и всё это называлось затишьем. Так нам объяснил старшина: «Сейчас у нас затишье, передовые части оборонительного района занимаются улучшением позиций». Я не сразу понял, что это такое – улучшение позиций, но когда пронесли раненого краснофлотца, стало ясно, что без крови оно обходится не всегда. Если вообще обходится.

Потом, когда вернулся Старовольский (его вызвал по телефону Сергеев), мы, низко сгибаясь в узком ходе сообщения, продвинулись несколько дальше. Окопы здесь были мельче, поэтому Зильбер, добравшись до цели, велел нам присесть на дно. Наверху, перекатываясь из края в край, продолжался редкий ружейный огонь. Постреливали и немцы и наши, то и дело, надрываясь, принимался рокотать невидимый, но близкий пулемет. С такой музыкой можно было не опасаться, что кто-то нас услышит, но всё равно Зильбер говорил теперь тихим голосом. И нам приказал делать так же, потому что передний край, даже если и не самый передний, громкого трепана не любит.

– А это ваше сегодняшнее оружие, – объяснил он, указывая пальцем на кучу инструментов, аккуратно разложенных в глубокой выемке, проделанной прямо в окопной стенке. – Вот это называется лопата. Вот это – кирка. Это, – показал он на обвалившийся участок траншеи, – боевая задача. Работаем на брюхе, землю и камни выбрасываем в сторону тыла. Начнем, когда сядет солнце, чтоб немец не заметил и миной не саданул.

Мы поглядели на небо. Солнце как раз закатывалось, и в скором времени предстояло засучивать рукава. А пока светило не закатилось окончательно, Зильбер, спросив разрешения у Старовольского, объявил перекур – велел курить так, чтоб ни дыма, ни огня ниоткуда видно не было. Сам же, пристроившись со Старовольским в удобном для наблюдения месте, стал показывать тому лежавшие перед нами позиции.

Мне, некурящему, заняться пока было нечем. Я осторожно потянулся, чтобы выглянуть из-за бруствера и увидеть поле сражения, о котором начиная с ноября так часто писали в газетах. Ничего примечательного не обнаружил. Нет, пейзажик был, в принципе, ничего. Травка, цветочки, кустарники, деревья. Некоторые, правда, стояли голыми, несмотря на теплое время года. В отдалении, слева и спереди, виднелись невысокие горы, справа почти вплотную подступали холмы, а прямо по курсу, между мной и горами на большую глубину протянулось ровное, но довольно узкое пространство. Чуть левее от нас его пересекала какая-то ложбина – возможно, русло неширокой реки, – а справа, по видимости, проходила железная дорога. Где немцы – было не понять, но столбики с проволокой были различимы.

Я едва успел пожалеть об отсутствии бинокля, как меня резко сдернули вниз – и тут же над окопом, прямо над головой, чиркнуло мелкой железной гадостью.

– Совсем охренел? – свирепо прошептал мне прямо в лицо Шевченко. Было видно, что ему не по себе, глаза чуть не вылезли из орбит. – Жить надоело?

Я не стал его спрашивать, откуда он тут взялся, только пробормотал «спасибо». Шевченко тоже немного успокоился. Сел рядом и объяснил, мне и всем остальным:

– Имейте в виду, у них снайперы. У нас тоже. Высунешься на полголовы без приказа – каюк.

– А если с приказом? – полюбопытствовал Мухин.

Шевченко отмахнулся. Федя Молдован покачал головой.

– Куда ж ты полез, балбес? И я хорош, недоглядел.

Мне стало совестно. Но всё же я спросил:

– А старшина со взводным как?

Шевченко пожал плечами.

– У них замаскированный НП, с немецкой стороны не видно.

– А мне показалось, то же самое.

– Когда кажется, креститься надо, пацан, – посоветовал Мухин. Я покосился на него и ничего не ответил. Сам бы и крестился, если больно хочется. И молился бы заодно, если умеет.

Я молиться не умел. И нужным не считал, поскольку был комсомолец, окончил десять классов. Отец мой еще в семнадцатом стал атеистом – на этот счет его просветили на империалистическом фронте. Когда он, дезертировав в корниловщину, на пасху добрался домой, то объяснил родителям всё: и про Христа, и про богородицу, и про святых угодников. Иконы так и вовсе хотел порубить на дрова. Уж больно был зол на небесную братию после июньского наступления. Но дед и бабка ему не позволили, унесли образа на свою половину. Потом вспоминали об этом со смехом, но молитвам меня не учили.

– Кончай прохлаждаться, – прозвучал голос Зильбера, и мы разобрали лопаты.

* * *

Отец не рассказывал нам об окопной жизни, и потому я не думал прежде, что половина войны, если не больше, – это работа лопатой. Мне еще предстояло понять, и довольно скоро, что лучше работать лопатой, чем бежать на пулеметы или вдавливаясь в землю под огнем.

Мы работали. Когда смогли встать на колени, радовались, что не надо лежать, а когда распрямились почти в полный рост, так и вовсе казалось – счастье. Дневная жара немного спала, но пот по-прежнему тек ручьями.

Мы старались не шуметь, но без шума не обходилось. Лопаты натыкались на камни, порой приходилось падать, почувствовав – сейчас пройдет поверху немецкая очередь, – и очередь проходила, оставляя во тьме следы трассирующих пуль. Наши тоже не оставались в долгу, били в немецкую сторону – в ответ на фашистские выстрелы и чтобы отвлечь внимание от создаваемого нами и не только нами шума.

Ночные работы шли повсюду полным ходом. Периодически освещаемые взлетающими над позициями ракетами – нашими, красными с желтизной по краям, и немецкими, ослепительно белыми. Ненадолго разорвав тяжелый мрак, ракеты медленно угасали потом в постепенно сгущавшейся над окопами черноте.

– Шевелись, пехота, – торопил нас Зильбер. – А то на поспать ни хера не останется.

Старшина трудился вместе с нами, и он, и Старовольский, и Шевченко. Мы управились с завалом часа за четыре и потом еще долго брели обратно, чтобы наконец завалиться на отдых в землянке – небольшой норе с каменистыми стенками. Было тесно, но не обидно, хотя Мухин и тут успел о чем-то поворчать. Но я уже не расслышал о чем.

* * *

Поутру с нами провел политбеседу военком батареи, старший политрук Зализняк. Родом он был, по нашим меркам, почти местный, из донбасского города Ворошиловграда. Не знаю, работал ли он когда шахтером, но его легко было представить в забое, здорового приземистого дядьку, сутуловатого, широколицего, с чуть прищуренными монгольскими глазками и стрижкой под комбрига Котовского. Усадив нас перед землянкой и присев перед нами сам, он произнес речь – после речей Сергеева и Зильбера третью из прослушанных нами за сутки..

– Стало быть, с приездом, хлопцы-запорожцы. В окопах первой линии, я слышал, побывали? Это хорошо. Поговорить бы с вами, что называется, о международном положении, но сейчас не до того. Поэтому буду краток. Задача на сорок второй Верховным поставлена ясная – разгромить, так сказать, фашиста. Предпосылки для этого есть. От Москвы мы его отогнали, Ростов освободили, Тихвин, Лозовую тоже. Здесь в декабре неплохо врезали по мордасам.

Он помолчал, словно стараясь вспомнить о чем-нибудь еще. Поднял указательный палец:

– Союзники наши – Англия и Америка и другие, так сказать, державы, которые сражаются с кровавой гитлеровской шайкой и подписали Атлантическую хартию.

Он вновь ненадолго задумался, после чего продолжил, гораздо тверже и более строго:

– Что случилось под Керчью, вы знаете. Под Харьковом... обратно нехорошо получилось. Немец попер, как говорится, сильно. Попрет скоро и тут. Остановим, конечно, но...

Военком опять сделал паузу, словно бы прикидывая, о чем говорить нужно и о чем говорить не стоит.

– Севастопольский оборонительный район у него как бельмо. Здесь, если кто не знает, самый южный участок войны, срежь его, и немецкий фронт сократится. Кончается наш район в Балаклаве, на той стороне бухты. Что еще? Патроны беречь, оружие блюсти, под пули не соваться, от пуль не бегать. Увидим труса в бою – пристрелим к ядреной матери, вы уж не обижайтесь. Потому что главное для нас – удержать свой участок. Сделает каждый свое дело как надо – и всё тогда будет как надо. Не сделает – себя погубит и других подведет. Красноармеец дрогнет – погубит соседа-красноармейца, рота не выдержит – подведет соседнюю роту. Батальон – батальон, полк – полк, дивизия – дивизию. Это, так сказать, в местном масштабе. А в общем и целом, если мы не сдадим Севастополь, а другие не сдадут Ленинград, Ворошиловград, Лозовую, вот тогда мы и победим. Мы ведь, хлопчики, русский народ, не буржуазия, а против русского народа у германца кишка, так сказать, тонка.

Он подумал опять и добавил:

– Но воевать германец умеет. Есть чему у него поучиться. Кто здесь служит давно, вам объяснят, чему именно. Таким вот образом. Вопросы есть?

Военком замолчал. Тишина была недолгой, человек с вопросом отыскался быстро.

– Есть, – ляпнул я неожиданно для себя. Видно, сказалось то, что я совершенно не выспался. Хотя другие тоже не выспались, а все-таки промолчали.

– Слушаю, – проговорил Зализняк не без удивления.

– Вопрос первый, товарищ старший политрук. Как развиваются наши отношения со «Свободной Францией» генерала Шарля де Голля?

– Ха-ароший вопрос, – протянул комиссар. – Ну, и отношения тоже, как говорится, хорошо развиваются. Союзнические у нас отношения с товарищем де Голлем. В общем и целом. А второй вопрос про что будет?

Честно говоря, мне уже не хотелось задавать второго вопроса, такие ответы я и сам бы давать мог пачками, но было поздно, назвался груздем, так иди до конца. Я и пошел.

– Как, по-вашему, товарищ старший политрук, следует оценивать британскую операцию при Мерс-эль-Кебире?

Тут я, похоже, переборщил, и переборщил довольно сильно.

– При Мерсель... чем? – тихо бормотнул Мухин, и все другие посмотрели на меня уважительно, в том числе военком Зализняк. Почесав пальцем переносицу, он не очень уверенно произнес:

– Ну, это дело, как говорится, давнее и, так сказать, прямо скажем, не простое. Импералистические противоречия, как говорится, то да сё. Есть что еще у вас, товарищ боец?

Я смущенно и не совсем по уставу помотал головой, но тут вмешался Шевченко.

– Какая теперь обстановка на Мальте, товарищ старший политрук?

Тот облегченно рассмеялся.

– А Мальта, товарищ Шевченко, держится, подавая пример борьбы двадцати шести объединенным нациям и лично вам с товарищами Зильбером и Костаки. Другие вопросы имеются?

Был у меня еще один вопрос, про поляков – почему их армия с генералом Андерсом до сих пор не принимает участия в боях. Но, похоже, комиссар спешил. А жалко, интересный был вопрос, у нас в Новосибирской области с позапрошлого года поляков на спецпоселении проживало великое множество. С началом войны их быстро амнистировали и стали звать в непонятную польскую армию. Только что были белые паны, а сделались братья-славяне.

– Вижу, вопросов больше нет, – удовлетворенно заключил политрук. – А значит, расходимся по работам, будет время – наведаюсь, посмотрю.

Договорив, он сразу же ушел в штабной блиндаж к капитану Бергману, заниматься хозяйственными и прочими делами. Мы же с Зильбером и Старовольским отправились во вчерашние окопы в боевое охранение.

В целом речь военкома, несмотря на обилие слов-паразитов, произвела на меня положительное впечатление. Раньше я такого не слышал – и что немцы умеют воевать, и что надо у них учиться. Все понимали, что это так, но скажи кто такое у нас в запасном – приписали бы пораженческие настроения и антисоветские разговоры. Да и на фронте, я знал, за такое не жаловали. Военком же и про Керчь сказал, и про Харьков. Пусть не всё, но сказал. Он, видимо, не очень верил, что прикончим мы немца в этом году, но главным были не сроки, главным было другое – выстоять и не сдать. И еще он говорил, похоже, то, что в самом деле думал. Совсем не так, как некоторые суровые товарищи, которых я видел раньше.

* * *

Из охранения мы вернулись через сутки. Без приключений, если не считать, что Мухина пытался подстрелить немецкий снайпер. «Хрен тебе!» – сказал со злостью Мухин и заявил Старовольскому, что тоже хочет учиться на снайпера. Старовольский ответил, что, если будет возможность, так и быть, отправит Мухина на переподготовку.

Чуть позже за Бельбеком – так называлась здешняя речушка – вышел форменный бой, со стрельбой, громким матом и криками раненых под конец. «Позицию улучшают», – пояснил старшина. Кажется, ничего улучшить не удалось, но немецкая артиллерия еще долго молотила по участку. «Хорошо, не по нас», – заметил Молдован и порадовался, что нам не пришлось улучшать свою. «Еще придется, – пообещал Шевченко, обтирая пот со лба, – боевая активность – без нее никак. Оборона не должна быть пассивной, иначе кранты, закон военного искусства». Похоже, он тоже был стратегом. Но в отличие от Рябчикова кое-что выдавшим.

Во время боя он дежурил наблюдателем, следил за немцами, чтобы в случае чего подать необходимый сигнал. Нам же велено было лежать и не высовываться, держать винтовки наготове. Впрочем, по очереди мы все побывали на наблюдательных постах. Шевченко, Костаки и Старовольский показывали нам изрытое воронками поле, наши передовые посты, ряды проволочных ограждений и почти неразличимые немецкие окопы в долине. Я долго вглядывался

туда, стараясь угадать, где может укрыться немец, и даже представил себе, как он точно так же осматривает нашу позицию и ищет глазами меня. И хорошо, если это простой наблюдатель, а не фашистский снайпер.

Ближе к закату я уже сам был наблюдателем и, затаив дыхание, снова пялился в немецкую сторону, стараясь не отвлекаться на дальние, поросшие лесом горы, напичканные, по словам Шевченко, германскими пушками, пехотой и техникой. Раз за разом, с равными интервалами, оттуда доносился тяжелый и неприятный гул – это фашисты, как и вчера, вели методичный артиллерийский огонь по городу и причалам. Иногда мне казалось, будто я различаю движение в ближних немецких окопах. «Может быть, и шевелятся, – согласился со мною Мишка, – фриц, он не спит, тоже делом занят».

Когда возвращались обратно, угодили под минометный обстрел. Не сильный, но пришлось довольно долго отсиживаться в ходе сообщения, и оставленный для нас в землянке завтрак – два бачка овсяной каши, – несмотря на крышку, остыл. Мы съели кашу с аппетитом, закусили сухарями, запили водой. Воду Зильбер велел беречь, с водой здесь было туго. «Шут с ней, с водой, – недовольно буркнул Мухин, – овсянка и так на воде. Где мои законные сто грамм?» Однако водки не выдавали вторую неделю, ссылаясь на новый приказ наркома обороны, то есть лично товарища Сталина, и этот вопрос беспокоил Мухина гораздо больше, чем отношения объединенных наций.

* * *

Я с самого начала понял, что в армии человеку всегда хочется спать. Связано это не только со спецификой военной службы, но и со специфическим взглядом начальников на физические потребности подчиненных. В запасном у нас считали, что лишний сон красноармейцу скорее вреден, а никакого другого отдыха, кроме сна, ему и вовсе не положено (если командир говорил: «иди отдыхай» – это значило «иди спи»). И вообще, полагало начальство, личный состав необходимо приучать к лишениям и тяготам военной службы. К тому же шла война, сроки подготовки сократились, и времени ни на что не оставалось.

Однако тут, на берегу Бельбека, наш сон зависел не столько от начальников, сколько от обстановки, а обстановка была военно-полевая. Первые два дня недосып сказывался не сильно, спасали новые впечатления, но на третий и четвертый у меня уже подкашивались ноги. Днем надо было пахать (работу немец подкидывал всегда) или лежать в охранении – караулить, чтобы фашисты не полезли. Ночью через раз тоже что-нибудь да случалось – то срочная работа, то секрет, то еще какая ерунда, как правило, долгая и утомительная. Когда по ночам не дежурили и не работали, на сон оставалось часа три-четыре. Но это чисто теоретически – потому что немцы могли устроить артналет и среди ночи. Когда же мы заступали в ночную, не оставалось ничего. Я не понимал, откуда берутся силы у командиров, но видно было, что и те клюют порою носом, мечтая о том же, о чем мы все. Однажды я нечаянно вздремнул прямо в окопе, но тут же получил тычок от Левки Зильбера. Легкий, но заставивший поверить, что разряд по боксу у Льва Соломоновича действительно имеется, и именно в полутяжелом весе.

Другой напастью была жара. С каждым днем она становилась всё сильнее, и мы начинали понемногу ненавидеть и юг, и Крым, и Черное море, которого я, впрочем, до сих пор не увидел. Собственно, если бы скинуть с себя всё лишнее, вылезти под солнышко, поваляться на одеяле, оно бы было совсем не плохо, но подобные фантазии, по мнению Шевченко, являлись вредными, расслабляющими и деморализующими. Было бы лучше даже не на одеяле, все-таки шерсть кусается, а на каком-нибудь лежачке. Или прямо на песке, на пляже, чтобы море шумело под ухом. Мухин однажды полюбопытствовал, где тут находится пляж, далеко ли. Шевченко объяснил: «На левом фланге сектора. Мы на правом». Однако не думаю, что бойцы левого фланга, даже те, что стояли у самого моря, бывали на этом пляже.

Еще одной напастью были мухи. Они роились над валявшимися на ничейной мертвецами, над отхожими местами позади траншей, залетали в окопы, садились на лицо. О борьбе с ними думать не приходилось. И еще очень мало было воды, правильно предупреждал старшина. Просто потому, что много было людей, и всем нужна была вода, и не только людям, но также лошадям, машинам, пулеметам. Я просто представить себе не мог, как на такую массу народа удавалось доставлять даже то небольшое, что мы тут получали. От речки, что протекала поблизости, проку не было, пить из нее, говорили, опасно – по причине всё тех же трупов. Мне однажды вспомнилось из Толстого, как русские и французы под Севастополем заключили перемирие на несколько часов, чтобы убрать мертвецов. Теперь такое и в голову не приходило. «Бескомпромиссная война антагонистических идеологий», – криво усмехнулся Старовольский, когда я осторожно поделился с ним своими соображениями. Но, думаю, в империалистическую трупы тоже не убирали, а ведь тогда идеология была у всех одна – империалистская.

А что такое трупы? Трупы – это вонь. Не знаю, сколько их там валялось и чьих было больше, советских или фашистских. Может, не так и много по сравнению с количеством живых. Тем более что серьезных боев давно не происходило, а наши и немцы по ночам старались вытащить с нейтральной полосы тела погибших накануне. Но хватало и тех немногих, которые там остались. От жары они раздувались, лопались, издавали зловоние. Густой тяжелый смрад постоянно висел над полем, и ошутим он был не только в первой, но и в последней линии траншей. И мы старались не думать, что совсем недавно это были такие же люди, как мы. И что мы сами можем оказаться такими же, как они.

Мы тоже не благоухали. Всё: гимнастерки, шаровары, обмотки, пилотки – насквозь пропиталось вонючим потом. Не говоря о портянках. До смены, а когда она будет, не знали ни Шевченко, ни Зильбер, о мытье и стирке думать не приходилось. Но к своему аромату привыкли быстро. И не только к своему, но и к аромату устроенных за окопами выгребных ям, над которыми сидели, с опаской вслушиваясь в писк пролетавших поверху пуль, и которые являлись выгребными лишь по названию, потому что выгребать из них в наших условиях не было практической возможности. К тяжелому духу от мертвых со временем принохались тоже. И если кто из штабных, забредя к нам в окопы, старался дышать пореже и не слишком глубоко, на наше сочувствие ему рассчитывать не приходилось.

«Все это чепуха, – успокаивал нас Шевченко. – Главное, чтобы не было вшей». Вшей пока не было. Крыс, тьфу-тьфу, тоже – если и пробегали, то редко.

О водке в подобных обстоятельствах не думалось. Но это мне не думалось, а вот Мухин не унимался. У него появилась новая теория: поскольку запасы спиртного наверняка должны быть огромными, на целый оборонительный район, то значит, теперь его выпивают штабные, а главное – интенданты, на свой лад толкующие приказ наркома. Ко всему он узнал от кого-то, что будто бы в здешнем госпитале раненым дают шампанское, прямо со склада, вместо воды. Новость его ужасно взбудоражила. «Цельная натура», – заметил Старовольский.

Младший лейтенант почти постоянно был с нами. Вместе с нами спал в землянке, вместе ел, вместе пил – разумеется, воду. Когда не спал и не ел, дежурил или работал, ну и руководил, конечно. Лишь изредка отлучался к Бергману или задерживался в штабе по разным бумажным делам. Тогда командование целиком и полностью переходило к Зильберу.

Как помкомвзвода Зильбер оказался скорее сносным. Строгим, однако не злым. Возможно, в мирной обстановке он был бы вполне душевным человеком, таким южанином в духе поэта Багрицкого и одного одесского прозаика, которого теперь... Прозаика, одним словом. Правда, красноармеец Пинский, призванный из университета, был о старшине второй статьи немного иного мнения. На то имелась причина. Дело в том, что, помимо множества прямых своих обязанностей, Зильбер добровольно возложил на себя особую миссию. Почти во всякое время он, используя удобный момент, занимался воспитанием Пинского, употребляя

слова, непонятные нам, но для Пинского крайне обидные. Я хотел спросить однажды, что такое «тухес», но, честно говоря, не рискнул, уж больно зол был Пинский в ту минуту – шепотом обозвал старшину второй статьи «жидовской мордой». Мухин, помню, тогда долго бесшумно ржал, а Пинский сделался красным как рак и производил впечатление опасного для окружающих человека.

* * *

После смерти Рябчикова Мухин поприших – по первости мы все там сделались тихими. Но дня через три доброволец пришел в себя. Вновь появилась наглость в рыскающих глазенках, голос сделался совершенно другим, будто сюда он прибыл не вместе с нами, а минимум полжизни провел на передке. Возможно, он полагал, что его лагерь был чем-то вроде фронта. И что порядки здесь такие же, как там. Однажды, обнаружив, что никого рядом нет, Мухин сунул мне свою лопату.

– Потрудись-ка, молодой, за уважаемого человека.

Мы поправляли дальний окоп, в очередной раз попорченный немцами, и лопата, коль на то пошло, была у меня своя собственная. Но для Мухина имело значение, чтобы я взял его инструмент. Возникла необходимость послать его подальше. Сразу и навсегда, иначе не отвяжется. Я сказал ему:

– На хер пошел.

Похоже, мои слова прозвучали неубедительно. Может быть, голос подвел или слово оказалось не тем. Мухин, пакостно ухмыльнувшись, ухватился за мою гимнастерку.

– Ты чё тут, фраер, совсем оборзел? Ты с кем говоришь, гаденыш? Да там, где я был, такие гниды, как ты...

Еще бы немного, и я испугался. Лапы у него были цепкие, драться я толком не умел, а в кармане у него наверняка был спрятан нож. С такого психа станется, пырнет и только потом сообразит, что сделал. Расстреляют, конечно, но мне оно не поможет. Но испугаться не получилось. Едва я почувствовал на себе его руки, как почти непроизвольно взмахнул своими и резко рубанул ребрами ладоней Мухину по запястьям. Не знаю, насколько сильным вышел удар, но Мухин сразу же отскочил.

– Ты чё? Нюх потерял, салага?

– Я сказал, пошел на...

На этот раз у меня прозвучало тверже. И слово нашлось подходящее. Похоже, есть такие люди, которые реагируют не на смысл сказанного, а на привычные звуки, вроде как псы. Мухин отреагировал правильно.

– Ты чё, молодой, шуток не понимаешь?

– Не понимаю. Чувства юмора нет. С детства.

– Оно и видно, – пробурчал бытовик и принялся перекидывать землю. Меня потом еще два часа трясло от ярости, а подонку было хоть бы хны. Какая-то особая порода людей. Красноармейскую книжку мне помял, в правом нагрудном кармане, скотина.

Потом, я слышал, он цеплялся к другим ребятам. Но там или сразу ничего не выходило, или Молдован грозился набить ему морду, или вмешивались Шевченко и Ковзун. Мухин стал грустным и говорил, что скоро делается снайпером и вновь обретет свободу. В голосе его звучала обида и мечта.

– Снайперить – это по мне. Один, как человек, без кодлы. Хресь фрицу в башку, и море душевного покоя. Я ж на воле отличный был стрелок, в тире брал призы. А тут – кирка, лопата, матросня, жида. А душа, она ведь просит.

* * *

Мы не только рыли землю. Начальство заботилось, чтобы мы поскорее стали обстрелянными бойцами. На шестой день наш взвод получил боевое задание. Мы обрабатывали ружейно-пулеметным огнем боевые порядки противника. Он в ответ обрабатывал наши. Огонь, что с нашей стороны, что с немецкой, был не особенно интенсивным, но всё равно, когда пуля вдруг чиркала чуть не под носом, делалось неприятно. Вновь высовываться из окопа не хотелось. Но приходилось. Высунул голову – нажал – нырнул на дно. Высунул – нажал – нырнул. Много ли было проку от такого ныряния, не знаю, но патроны уходили быстро, хотя большинство бойцов как в копейку лупило в белый свет. Будущий снайпер, между прочим, тоже.

– Это называется беспокоящий огонь, – с довольным видом выдавал он усвоенные накануне термины. – Чтоб жизнь фашистам медом не казалась.

Не знаю, как немцам, но мне жизнь и так не казалась сладкой. Зильбер тоже был не в восторге от наших плясок.

– Надо срочно подтянуть боевую подготовку, – озабоченно заметил старшина, когда в окоп пробрались с проверкой старший лейтенант Сергеев и военком батареи Зализняк.

– Тут тяни не тяни, время нужно, – покачал головой военком, присаживаясь на дно рядом с Сергеевым и Старовольским. – Вот ты в запасном чем занимался? – обратился он ко мне. (Я как раз запихивал в магазин обойму, а она, видимо от близости начальства, как-то косо пошла и не запихивалась.)

– Строевая. Штыковой. Стрельбы. По-пластунски.

Старший лейтенант насмешливо хмыкнул:

– Всё как положено. И штыковой, и стрельбы. Штыковой – это с беззащитным чучелом, а стрельбы – из положения лежа по неподвижной мишени в свободное от разгрузки угля и картошки время. Месяц – и боец готов. Точно?

– Полтора, – уточнил я.

Тогда Сергеев спросил у Зильбера:

– А помнишь, какая у нас была пехотная подготовка? Шли по кукурузному полю в полный рост, как на параде.

Зильбер поморщился, видимо воспоминание было тяжелым. Мрачно процедил:

– Зато я у немца видел глаза.

– Ага, – кивнул Сергеев и добавил: – А многие так и не увидели.

Они помолчали. Старовольский извлек из кармана папиросы и предложил их оказавшимся поблизости. Кроме меня, потому что знал – я у него некурящий.

– Я ведь тебя помню, – неожиданно сказал мне старший политрук. – Умный парень. Газеты читаешь. Десять классов небось закончил?

– Да, – ответил я, еще не зная, куда он клонит. А военком повернулся к Сергееву.

– Помнишь, Бергман говорил, ему грамотный человек для бумажной работы нужен?

– Помню, – буркнул тот. – Алексей, дашь комбату человека?

Старовольский вопросительно посмотрел на меня и непонятно чему усмехнулся. Мне стало совестно, и я вопреки собственному желанию пробормотал:

– Разрешите обратиться, товарищ старший политрук? Пинский у нас так вообще студент. Из университета.

– Пинского не отдам! – решительно вмешался Зильбер. – Он мой.

– Это даже не подлежит обсуждению, уважаемый Лев Соломонович, – успокоил его Сергеев. Потом приподнялся не в полный рост и сказал Старовольскому: – Ну бывай, мы побрели обратно. Поцелкайте тут еще с полчаса, только патроны берегите.

Оба нырнули в ход сообщения, а мы занялись своим беспокоящим делом. Спустя некоторое время к нам присоединился Шевченко, выступивший на сей раз в роли пулеметчика. Трофейный «МГ» и ленты к нему он приволок вместе с Костаки, установил машину в подготовленном накануне гнезде и сразу же позвал меня к себе.

– Устраивайся поудобнее, будешь ленту держать, чтобы не перекосило. Полезное дело, осваивай. Костик понаблюдает пока.

Потом, поискав глазами, Шевченко проговорил:

– А теперь братский привет трудящимся Германии. Крестьянам, рабочим, трудовой интеллигенции.

И, прищурившись, мягко нажал на спуск. И хотя мне по-прежнему было страшно и было нужно следить за лентой, я не сразу сумел оторваться от облачка пыли, заплывшего на той, немецкой, стороне. Я словно вживую увидел, как попадали фашисты на дно, как вжимаются они в землю – и как кто-то уже не вжимается, потому что ему всё равно, потому что он мертв и не видеть ему фатерланда. И впервые с момента высадки на Северной стороне Севастополя я почувствовал подобие радости.

Испытание совести Курт Цольнер

Двадцатые числа мая 1942 года

Чтение полученной накануне почты мне хотелось начать с писем Клары и Гизель, однако, как примерный сын, я первым делом ознакомился с короткой запиской от матери. Из нее я узнал, что «пока писать не о чем», отец опять в отъезде, а некий Гельмут (я не сразу сообразил, что это ухажер госпожи Кройцер) куда-то исчез. Материнское послание сопровождала приписка от Юльхен, несколько более содержательная.

«Я нарочно вскрыла мамочкино письмо, – сообщала мне моя послушная родительской воле сестра. – Ты не поверишь, но с помощью твоей Клавдии (с какой стати она моя? – возмутилось мое естество) я освоила независимый аблятивный оборот. Оцени, бездельник! Caesar omni exercitu ab utramque partem munitionem disposito... Если перевести дословно и со всеми падежами, получится вот такая ерунда: «Цезарь всем войском с обеих сторон укреплений расположенным». Но если это переделать вот так: «Цезарь, когда он расположил всё войско по обеим сторонам укреплений», – всё встает на свои места. Более литературные варианты: «Когда Цезарь расположил всё войско» или «Цезарь, расположив всё войско». Блеск! Клавдия здорово умеет объяснять, даже мне понятно. И вообще, она такая умница, хоть и страшенькая, постоянно говорит о Кларе, о тебе и вздыхает. Надеюсь, ты не влюблен в эту белобрысую селедку? Я ее видела лишь однажды, но думаю, она вполне бы могла работать натурщицей Адольфа Циглера. И вообще, Гизела просто прелесть, мы всё время вместе, и я за ней приглядываю.

P.S. Я обнаружила историческую параллель между Цезарем и Манштейном. Когда русские высадились на востоке Крыма, ваша армия, осаждавшая Севастополь, сама оказалась как бы в осаде, под ударом с двух сторон. Как Цезарь под Алезией. Ведь правда? Но Гай Юлий победил всех варваров!»

Моя сестрица становилась военным историком. Дело заведомо не женское, но что подлаешь – эмансипация. Любопытно, куда этот процесс заведет историческую науку лет через пятьдесят? Хотя и так понятно – ничем хорошим он закончиться не может.

Два оставшихся письма, однако, интересовали меня больше, чем судьбы европейской историографии. Естественнее было бы начать с послания Гизель, но я заставил себя вскрыть конверт, надписанный рукою Клары. И нельзя сказать, что меня постигло разочарование – нечто подобное я как раз и ожидал увидеть.

«Мой милый и хороший Курт! – писала мне потенциальная натурщица Адольфа Циглера. – У меня всё по-прежнему. Здесь, в нашем городе, ничего не меняется, и это даже к лучшему. Я думаю только о тебе, лишь с тобой мои мысли, мои чувства, всё, что во мне есть...»

«И что же там есть? – несправедливо подумал я вместо того, чтобы восхититься Клариним умением выстраивать риторическую градацию. – И есть ли там что?» Мой рот скривила усмешка, взгляд равнодушно заскользил по бессмысленным строчкам, и мне живо представилась Клара, та самая, в расстегнутом до пояса платье, без бюстгальтера, с любопытством ожидающая, когда я наконец займусь своей ширинкой.

Где-то посередине письма характер Клариной риторики менялся. «Мой милый мальчик (это еще что за новости?), если ты меня по-настоящему любишь, я буду твоя и только твоя. Если ты думаешь обо мне, я буду думать только о тебе. Если ты не забыл наших встреч (было что забывать?), я непременно тебя дождусь и мы снова будем вместе (что бы значило это «снова?»). Родной мой, хороший, славный...»

Вот, оказывается, каким приемам учили девушек в гимназии имени Гёльдерлина. Но Юльхен тоже училась там. Или то были уже плоды академического образования? В любом случае Клара выдвигала слишком много условий, и я окончательно осознал, что мой удел не хрупкие блондинки. Убрал ее письмо в сухарную сумку (тоже ведь пища, можно сказать – духовная), я развернул домашнее сочинение страстной и крепкой брюнетки. Умеренно спортивной и с бюстом, который не нужно искать.

«Дорогой Курт, – писала она мне, – даже не знаю, с чего начать и о чем рассказывать. Не о работе же, не о доме, не о всей той ерунде, что окружает меня и не имеет к нам с тобой никакого отношения. Тут только и разговоров что о предстоящем замужестве госпожи Кройцер, которое грозит в очередной раз сорваться. Что касается наших с тобою дел, госпожа Нагель, похоже, обо всем догадалась, твоя мать смотрит на меня искоса. Не вздумай только выговаривать ей за это, она мать, ее можно понять. Я к вам не захожу, но Юльхен часто бывает у нас, веселая девочка, умненькая, хотя мне кажется, слишком интересуется мужчинами. Не мне ее упрекать. И не тебе. Не знаю почему, но к ней постоянно таскается твоя однокурсница Клавдия, учит ее латыни. Она случайно в тебя не влюблена? Ничего между вами не было? Ведь ты известный блудодей! Я шучу, не обижайся, сама такая, мы нашли друг друга. Скорее бы всё это кончилось. Я даже боюсь тебе признаться, какие мысли порой приходят мне в голову, но я так хочу, чтобы ты снова был здесь, со мной. Мы ведь будем счастливы вместе, правда? Как ты думаешь – да или нет? Проклятая война всё поставила с ног на голову. Никто ни в чем не может быть уверен. Ты сказал, что любишь меня. Я поверила. Это главное. Дальше решать тебе».

Я был растроган. Правда, как человек, стремящийся к объективности, всё же счел необходимым подумать: желай я добиться Клары, не проявил бы я тогда большей снисходительности к ее риторическим упражнениям? Ведь, домогаясь любви, мы столь часто восхищаемся в девушках тем, чего в них нет, или тем, что вовсе не достойно восхищения. Восхваляем ум, талант и еще Бог знает какие качества, вовсе не свойственные данной особе. И всё ради того, чтобы залезть не будем уточнять куда. Иными словами, следуем по стопам хитрого лиса из басен Эзопа и Лафонтена. А потом думаем, как бы исчезнуть, чтобы не повторять тех глупостей, которые бездумно произносили, устремляясь к заветной цели – мясу (согласно греку) и сыру (согласно французу) мужчин.

* * *

Накануне ожидаемого всеми штурма наша третья рота пребывала не в самом плачевном состоянии. Она была пополнена, довооружена, каждый взвод и отделение имели своих командиров. Если русские еще не трепещут, то у них замедленная реакция, говорил наш старший лейтенант Аксель Вегнер, ставший ротным после декабрьских боев и бывший на самом хорошем счету у командира батальона майора Берга. Помощник Берга, лейтенант Иоахим фон Левинский, также проявлял к нашей роте повышенную благосклонность. Мы и в самом деле неплохо тянули лямку, спокойно, уверенно, без происшествий и лишних потерь. Впрочем, всякая потеря бывает лишней, но это с нашей, солдатской точки зрения, тогда как наверху полагают иначе, подразделяя потери на допустимые, чрезмерные и какие-то еще – арифметика особого рода, разумению чувствительных натур неподвластная.

Из числа прибывшего до нашего приезда пополнения у нас во взводе оказалось шестеро. Наиболее колоритной фигурой был старший ефрейтор Йорг Главачек, уроженец Богемии и Моравии. Он успел послужить в полицейских частях протектората и высокое звание принес на фронт оттуда. Длинный, костлявый, мрачный, он от старания буквально лез из кожи. До мобилизации в вооруженные силы он побывал даже в членах партии. Во время окопного дежурства мне иногда казалось – еще немного, и Главачек выскочит на бруствер, чтобы рвануть в атаку с воплем «За родину и фюрера». Короче, был среди нас самым главным немцем. Его поставили

на наше отделение, но Греф по привычке вел себя как непосредственный наш начальник, и мы почти не воспринимали Главачека в качестве командира.

Приехавшие с ним двое австрийцев, Каплинг и Штос, производили лучшее впечатление. Первый был из Мелька, второй из-под Кремса, оба деловитые, спокойные ребята, в особенности санитар Штос. Главачека они недолюбливали и с удовольствием передразнивали его чудный богемский акцент: «Нашя-а рота... да-ални-ий лэ-эс...». Шутили, что наконец-то сделались стопроцентными «имперскими немцами». Однако причина их появления была ничуть не смешной, особенно у нас в третьей роте, где процент призванных из округа заметно сократился после штурма Перекопа, когда дивизию стали спешно пополнять вне установленного окружного порядка.

Первое из благодеяний Левинского выпало на нашу долю спустя шесть дней после нашего прибытия. Мы и недели не прокопались в окопах, как получили шикарный подарок. Не только смену, баню и новое белье, но также концерт фронтового ансамбля с участием артистов из Симферополя. Мы отправились туда командой во главе со старшим лейтенантом Вегнером и отдохнули совсем не плохо. Парни из ансамбля среди прочего выдали смешную пародию на девушек, недостаточно благонаравно ожидающих своих женихов – тема для многих весьма злободневная, Главачек тот прямо позеленел – видимо, представил свою Марушку или Катержинку в объятиях удальцов вроде Дидье и прочих недавних отпускников.

Совсем неплохо смотрелись симферопольские артисты. Труппа украинского театра побаловала нас казацкими плясками, татарский и болгарский инструментальные квартеты – народной музыкой, а известный московский тенор, пострадавший от советской власти, – русскими романсами – местной разновидностью лирической песни, несколько заунывной, но отвечавшей моему настроению. Окончив пение, он на безупречном немецком заявил:

– До встречи в Севастополе, друзья!

То же самое мы услышали от артистов украинского театра, а также от татарских и болгарских музыкантов. Подобное единодушие заставило бы всякого поверить в счастье освобождаемых туземцев. Всякого, кто не был на Востоке более двух дней. Мы тут пробыли несколько дольше – и ловко находили кур в наиболее укромных местах. Как минимум.

В расположение мы возвращались в сумерках и здорово навеселе. Даже Вегнер не отказал себе в удовольствии приложиться к местному вину, заботливо нам поднесенному освобожденными татарами. Сухарные сумки ломались от купленной и добытой в деревне снеди, и когда по дороге нам встретилась группа румынских солдат, тем несложно было догадаться, что у немцев отыщется чем разжиться – при наличии на то нашей доброй воли. Доброй воли проявлено не было. Когда перед Грефом появились двое тощих румынских крестьян в напоявших мундиры обносках и стали жестами объяснять, до чего же им хочется есть – а по их измученным голодом лицами было понятно и так, – тот свирепо на них наорал и, поведя автоматом, велел убираться прочь.

– Откуда они тут взялись? Шарятся как шакалы в чужом расположении. Куда только смотрит полевая жандармерия?

Некоторое время спустя появились трое новых румын. Подойти к нам они не рискнули. Так и стояли в стороне, жадно всматриваясь в наши сухарки, пока мы не прошествовали мимо. Мне стало неловко, и, немного отстав, я поманил союзников пальцем. Опасливо озираясь, они осторожно приблизились, один молодой, почти мальчишка, другие заметно старше меня.

– Prenez, prenez, samagades, – говорил я, передавая им буханку хлеба с кусками вяленой козлятины – и в который раз убеждаясь, что оказывать ближним помощь приятнее, чем заниматься убийством себе подобных. И пусть даже ближний не понимает твоих слов и сам говорит на непонятном наречии, он кажется тебе в такой момент чертовски симпатичным. Хотя, возможно, эти румыны, радостно кивавшие доброму немцу, и в самом деле были милыми людьми.

Интернационально-гуманистическая идиллия продолжалась совсем недолго. Из сгустившихся сумерек вынырнул толстенький человечек, на плече которого поперек погона блеснули золотом две тонкие полоски. Вежливо мне улыбнувшись, он развернулся к солдатам и неожиданно исторг из глотки вопль, выражавший крайнюю степень командирского возмущения. Солдаты в возрасте моментально вытянулись по швам, а чуть замешкавшийся паренек незамедлительно схлопотал кулаком по физиономии.

– Pardon, monsieur, – обернулся офицер ко мне и отвесил парню новую оплеуху. Сноровка его в этом деле могла бы вызвать уважение, если бы уважение вызывало само дело, возможно вполне обычное по меркам Великой Румынии. Он проорал что-то вновь, и испуганные бойцы вынули из мешка уже спрятанные мясо и хлеб. С учтивым кивком союзный лейтенант вернул мне мой скромный подарок.

– Они роняют честь румынского солдата, – объяснил он по-французски подошедшим к нам Вегнеру и другим. – Их поведение недостойно потомков древних римлян.

С презрительной гримасой офицер махнул рукой, и незадачливые его подчиненные тут же растворились во мраке. Сам он, однако, уходить не спешил. Открыв небедного вида портсигар, он стал предлагать сигареты. Мне как некурящему врать не пришлось – в отличие от Дидье и других. Отказались все, кроме Главачека, Грефа и пары новичков, еще неопытных в ротных делах. Румын умело сделал вид, что ничего не понял, и, прежде чем нас покинуть, пообещал прислать вина из бессарабского поместья, героически отбитого у большевиков в июне прошлого года.

– Римляне, – прошипел со злостью Вегнер, когда мы снова двинулись в путь.

– Вот и я говорю, нечего с ними тут связываться, – высказался Греф, дымя союзной сигаретой. – А Цольнер полез зачем-то.

Отто поделился мыслями с Дидье:

– Интересно, а у советов быют по морде?

– Нет, – ответил тот, – к стенке запросто, по морде не положено.

Я добавил:

– Общенародное единение. Почти как у нас.

* * *

Главачек раздражал не только меня и австрийцев. Дело было не в его богемском происхождении. Просто так устроен мир – в одних сообществах от членов ожидаются такие-то качества, в других – совсем другие. Возможно, попади наш Йорг в иную роту, даже в нашем батальоне, он бы вполне пришелся ко двору, но у нас таких не любили, так уж оно сложилось. Каких «таких»? Трудно сказать, но не любили – и всё. И бедолага это чувствовал, хотя своей нелюбви к нему мы внешне никак не выказывали. Но он умудрялся нарваться сам. Однажды, слегка навеселе и вне строя, он сумел рассердить даже Вегнера. Поприветствовал того по-партийному, общеизвестным «римским» жестом.

– Вы в армии, Главачек, – сказал лейтенант недовольно.

Йорг поспешно поправился, но всё ж немного погодя спросил:

– Разрешите вопрос, господин лейтенант?

– Я вас слушаю.

– Мне говорили, это равноценно. У нас в протекторате...

Вегнер посмотрел на него как на странное и абсолютно постороннее существо, которое по сугубой случайности забрело в его роту и вообще на землю.

– Вас неверно информировали, старший ефрейтор. Армия есть армия при всякой погоде. Другие вопросы?

– Никак нет, – не на шутку расстроился Йорг.

Его успокоил Греф, с самого начала оценивший стремление Йорга нравиться начальству и его готовность при необходимости угостить своего взводного вином. «Старая военная каста, – сказал он о Вегнере, – динозавры. Но порядок есть порядок, он должен быть всегда, тут уж ничего не попишешь. Скажи-ка лучше, как ты исхитрился просочиться в партию? Я бы после службы тоже попробовал, хорошее дело, какой ни есть, а шанс».

Лучшим приятелем Главачека вскоре сделался ефрейтор Гольденцвайг, переведенный к нам за неизвестную провинность из местной комендатуры под Винницей прямо накануне моего приезда. Он был уроженцем дивизионного округа, однако, в силу таинственных обстоятельств появления его в нашем взводе, Греф относился к нему с недоверием. Тот, в свою очередь, старался недоверие рассеять и, пользуясь дружбой с Главачеком, при каждом удобном случае заводил разговоры со взводным. На следующий день после случая с румынами (наш отдых еще не кончился и время для бесед пока имелось) он, наскучив игрою в скат, поинтересовался:

– А правда, что у русских на каждом взводе по лейтенанту?

– Правда, – ответил Греф, самодовольно улыбнувшись. Ему явно не хватало подобного внимания, которое бы напомнило всем, что старший фельдфебель Греф находится на офицерской должности.

– Где же они их столько берут?

– Пекут как пирожки, – охотно объяснил ему Греф. – Несколько месяцев – и на передовую. И ладно бы брали из фронтовиков, так нет – у них в военных училищах почти сплошь вчерашние школьники.

– Что? – изобразил удивление Гольденцвайг. – И вот он, значит, приходит в окопы, ни разу не видел фронта, никогда никем не командовал, и его ставят на взвод? А во взводе старые войки, унтерофицеры?

В этом месте мы с Дидье переглянулись и даже Главачек покачал головой, возможно завидуя умению Гольденцвайга польстить непосредственному начальнику – и при этом почти незаметно.

– Именно так, – подтвердил с достоинством Греф.

– И как же они командуют? – продолжил изумляться Гольденцвайг. – Ведь они и как солдаты ничего еще не знают. Я вот даром что ефрейтор, но раньше на передовой не бывал, так теперь всему тут заново учусь.

В этом месте он, похоже, польстил всем нам, и вновь-таки почти незаметно.

– А у них, – ответил, затягиваясь, Греф, – естественный отбор. Кто-нибудь знает из вас, сколько дней живет на фронте красный лейтенант?

– Занятный вопрос, – подал голос Главачек. – Думаю, после нашей победы статистики этим займутся.

«Больше им заняться будет нечем», – подумал, в свою очередь, я, прикидывая, чем бы после войны могли заняться великогерманские статистики.

– Теперь я понимаю, почему у них такие потери, – удовлетворенно заключил Гольденцвайг.

– Но они, подлецы, тоже учатся, – огорченно отметил Браун. – Цепью в рост на пулеметы не бегают. Раньше, помню, была благодать – устроишься поудобнее и лупишь как тараканов, комиссары только валяются. Теперь поумнели, работают мелкими группами, только и смотришь, как бы гранатой в задницу не залепили.

– Когда как, – возразил ему Греф. – Вот придет такой героический лейтенантик и погонит красножопых за милую душу.

– У нас, что ли, такого не случается? – пожал плечами Дидье.

– Так и я о том же, – не стал спорить Греф. – Если даже у нас случается, то что же тогда у них?

Присоединившийся к беседе Каплинг предпочел рассказать, как происходит у нас.

– Я в палате лежал с одним парнишкой из войск СС. Страшные вещи рассказывал. Почти все сопляки-добровольцы, сильные, конечно, высокие, красавцы нордические. Но подготовки почти никакой. В первый же день после выгрузки их полковник погнал в атаку – чуть ли не строем, покажем, говорит, армейским крысам, что такое настоящее героичество. И так целую неделю. Пока полковника не сняли к чертовой матери, а их в тыл не отвели на переобучение. Кто остался в живых, конечно.

* * *

Меня мучили сомнения и нехорошие предчувствия. Последние посещали тут многих, ждать хорошего не приходилось, и для меня они были не внове. Однако на сей раз всё было как-то по-другому, даже не знаю как. Предстоящее массовое убийство подступало ближе и ближе. Мне было суждено стать его активным участником.

Разумеется, я кое в чем участвовал и прежде, но ни разу не был, скажем, в рукопашной, только слышал – и от таких рассказов выворачивало наизнанку. Я стрелял, возможно убивал, но никогда не видел убитого именно мною, во всяком случае, не знал об этом точно и потому не смог ответить на заданный Гизель вопрос. А тут, ни с того ни с сего, вдруг появилась уверенность, что увижу – и не только мертвого, но и умирающего, живого еще, теплого, раненного моими собственными руками и глядящего мне в глаза. У меня возникло непонятное желание исповедаться. Я сказал об этом лейтенанту Вегнеру. Тот удивленно хмыкнул:

– Что с вами, Цольнер? Вы же образованный человек.

В ответ я развел руками.

Воспользовавшись телефоном в батальонном штабе, Вегнер не без труда отыскал дивизионного католического капеллана. Как и евангелический, тот был сильно загружен работой – в нашей дивизии католиков хватало, – и потому далеко не всегда находился на месте. Я отправился в путь вместе с австрийцем Штосом, который тоже рассудил, что «перед этим оно не помешает».

Старший капеллан вооруженных сил по имени отец Георг оказался высоким, плотным и улыбчивым мужчиной. На его священнический сан указывали фиолетовые лацканы висевшей в прихожей шинели и крест на фуражке – аккуратно под свастикой национальной эмблемы. На боку красовался не положенный по чину пистолет.

– Я не хотел бы стать добычей партизан, – заметил он, перехватив взгляд Штоса.

Он пригласил нас в одну из комнат занимаемого им и его коллегой беленого домика, где, набросив на плечи епитрахиль, приступил к совершению таинства. Я отправился первым, поскольку Штос заявил, что еще не вполне завершил испытание совести.

– Проведи его как можно тщательнее, – напутствовал его капеллан и, заведя меня за походный алтарь, после короткого вступления спросил: – В чем ты желаешь покаяться, сын мой?

Он говорил негромко, но внушительно, порою несколько нараспев, отработанными за годы служения речевыми блоками. Мне было труднее. Едва я увидел его пистолет, мое желание высказать мучившее меня пропало. И тогда я рассказал о Гизель. В конце концов, мои отношения с ней являли собою проступок против морали, а что раскаяние еще не пришло, так ведь на фронте его и вовсе можно было не дожидаться. Отец Георг проявил интерес. Отметив бесспорную греховность произошедшего, он полюбопытствовал о подробностях. Выслушав обстоятельный ответ, удовлетворенно покачал головой.

– Выходит, получилось слишком быстро? Едва познакомились? Н-да. Но ты, я полагаю, собираешься на ней жениться?

– Скорее нет.

Я поймал себя на мысли, что еще ни разу об этом не думал. Отец Георг рассудительно заметил:

– Следовательно, это не любовь? Что же тогда? Признайся – у тебя были другие девушки?

– Да, – повинился я. Склонив голову и, возможно, слегка покраснев.

– Ты уже говорил об этом на исповеди?

– Я не исповедовался четыре года, – признался я вновь.

– Скверно, но поправимо, – посетовал капеллан. – Знаешь что? Расскажи-ка мне об этих девушках и постарайся не упустить ничего существенного.

Похоже, этот поп – большой весельчак, подумал я тут. Нормальный парень, которому не хватает того же, чего не хватает сегодня большинству нормальных парней. Однако рассказал ему всё, причем главным образом о существенном. О Гизель, о Кларе и даже о прекрасной бельгийке. Имел же я право поделиться хоть с кем-то, кто не станет мне ржать в лицо. Отец Георг не ржал, напротив – дал мне отпущение, а также пару полезных советов по духовному совершенствованию в полевых условиях. В завершение подарил мне и Штосу по новому походному молитвеннику.

Теперь я был вооружен не только гранатами и винтовкой. Душа моя была чиста, как никогда. У Штоса, полагаю, тоже – и в этом заключается преимущество истинной римской веры над аугсбургским и гельветским исповеданиями, в коих погрязли Дидье, Браун, Греф и сотни иных бедолаг. Если же серьезно, мне в самом деле стало легче.

Краски русского юга. Трусика на лампе Флавио Росси

23 мая 1942 года, суббота – 26 мая, вторник

Ночью в Феодосии я впервые за время пребывания в России не ограничился ужином. Не помню, как ее звали, вероятно, я и не спрашивал. Делая свое дело, она сдержанно, но без притворства стонала – полузакрыв глаза, закусив губу и, похоже, получая удовольствие. А потом лежала, свернувшись калачиком, напоминая маленького беззащитного зверка. Я дал ей денег и спросил:

– Тебе хватит или еще?

Она растерянно кивнула и, не дав ответа, выпорхнула в коридор, аккуратно прикрыв за собою дверь. Я подумал о Зорице и осознал, что наконец она оставила меня в покое и я волен делать, что захочу.

– У вас вид хорошо отдохнувшего человека, – приветствовал меня за завтраком Грубер.

– У вас тоже.

– И заметьте, совсем не за дорого. Думаю, нам стоит задержаться здесь на пару деньков, отдохнуть на морском берегу, подготовить материалы о героях зимнего штурма Феодосии и нынешнего Керченского сражения. Ну а потом нас ждут столица Крыма и Севастополь.

– Мы не опоздаем к штурму?

– Не шутите, Флавио. Перебросить такую массу войск... Пусть уж лучше рассосется немного. Если выедем позже, так, может, и задержек в пути не будет.

* * *

Крымская столица показалась мне невзрачной. Керчь впечатляла ослепительным видом на бухты, пролив, азиатский берег. Феодосия – гегуэзскими руинами и ощущением покоя. Судак – крепостной стеной, наброшенной, как ожерелье, на голые, нависшие над морем холмы в окружении безлесных, бесплодных и фантастических гор. А Симферополь был плоским и пыльным скопищем одноэтажных и двухэтажных строений, иногда прикрытых от улиц садиками – отнюдь не самыми ухоженными по причине вызванной войной неустроенности. Картины несколько оживляли храмы ортодоксальной церкви и мусульманский минарет, но и те выглядели довольно запущенными.

Приличные дома стояли только в центре. В один из них мы отправились почти сразу по приезде, лишь самую малость пробыв в гостинице. Была суббота, и Грубер сказал, что своими киммерийскими трудами мы заслужили себе право на отдых. Он отпустил Юргена, мы привели себя в порядок и, выпив кофе в гостиничном буфете, двинулись на танцевальный вечер, устроенный заботами военных властей для немецких и союзных офицеров.

Я не пожалел о решении Грубера. Ступив в обширный зал, где нам предстояло провести несколько беззаботных и, вполне вероятно, счастливых часов, я немедленно пришел к выводу, что если измерять столичность и провинциальность количеством красивых девушек на единицу площади, то Феодосия, и тем более Керчь, и даже город на Днестре покажутся рядом с Симферополем тоскливым захолустьем. Разумеется, не все из толпившихся в зале красавиц являлись местными уроженками, но ведь тем столица и отличается от периферии, что магнитом притягивает к себе лучшее, что наличествует в стране: интеллектуальные, художественные, трудовые и прочие здоровые силы. Тем более если в столице располагается штаб-квартира отдельной армии и оккупационная администрация генерального округа – не говоря о резиденции фюрера СС и полиции Таврии и Крыма.

Я сразу же обратил на нее внимание. В простеньком сиреновом платье с белым воротничком, с темными волосами, завитыми явно не в парикмахерской, в туфельках со стертymi на четверть каблучками, она всё равно казалась милее прочих. Возможно, лишь потому, что была в моем вкусе и чем-то – не лицом, а скорей силуэтом и пластикой – напоминала мне Зорицу. Роль играло не сходство Нади с моей миланской любовью, но то, что обе относились к одному и тому же наиболее привлекательному для меня типу. Недорогое платьице прекрасно подчеркивало все необходимые выпуклости женской фигуры, с которыми у Нади, при ее всей юности и свежести, дело обстояло наилучшим образом.

Грубера она не заинтересовала. Он сразу же занялся худощавой пергидрольной блондинкой, взиравшей на мужчин подобно женщине-вамп и не оставлявшей никаких сомнений в высшей степени своей доступности. Увлекательный, но нелегкий труд соблазнителя был чужд высокоученой натуре доктора и зондерфюрера, об этом он сказал еще в городе на Днепре. «Занятия наукой не оставляют на подобное ни времени, ни сил, а снимать напряжение периодически нужно. В этом смысле я пошлейший из буржуа».

Знакомство с Надей было облегчено одним немаловажным обстоятельством. Вместе с ней и ее подругой здесь находился мой старый приятель, еще по университету, Пьетро Кавальери, тоже журналист и в последние годы военный корреспондент. Встреча была приятной, но вовсе не неожиданной. Я прибыл ему на смену.

– Ну, наконец-то! – воскликнул он, подойдя ко мне в сопровождении двух русских граций, чье присутствие заставило сладко сжаться сердце старого романтика – возможно, одного из последних на Апеннинском полуострове.

– У тебя прекрасный эскорт, – не стал я размениваться по мелочам. Звуки фокстрота и мягкое освещение зала побуждали к решительным действиям. Пьетро без колебаний пошел мне навстречу.

– Если хочешь, он будет твоим. Всё равно я завтра уезжаю.

Он давно дождался моего приезда, чтобы покинуть Крым и отправиться на родину. Хотел ли он этого сам или то была воля комитета по делам военной прессы, мне точно известно не было, в такие вопросы я предпочитал не вникать. Тарди дал мне понять, что Пьетро и его газета не вполне справляются со своими, в принципе, несложными обязанностями по освещению военных действий на юге русского фронта, что же конкретно имеется в виду, я у Тарди не спрашивал. Но рад мне Пьетро был до чрезвычайности.

– Мужчины, вы не вежливо люди, – сказала подруга Нади на кошмарном немецком. – Про итальянцы говорить как очень вежливо, а вы – фи...

– Прошу прощения! – спохватился Пьетро, переходя на общепонятный язык объединенной Европы. – У меня есть оправдание – я встретил старого друга, которого не видел почти три года.

– Три с половиной, – заметил я. – Теперь ты наконец представишь меня своим очаровательным спутницам?

– Это даже не вопрос. Надежда Лазарева, прекраснейшая из жемчужин Симферополя и Южного берега Крыма. Валентина Орловская, другая прекраснейшая жемчужина означенного региона. Флавио Росси, золотое перо Милана, Италии и Абиссинии.

Я поклонился, адресовав обеим красавицам в меру смущенную улыбку. И добавил:

– Ты забыл про Испанию, Пьетро.

– О да! Ему рукоплескали Севилья, Бургос и Саламанка. Генерал Франко требовал ежедневного перевода его корреспонденций на испанский. Для собственного ознакомления и перепечатки в местной прессе. Долорес Ибаррури, Негрин, Кольцов, Хемингуэй и лично Илья Эренбург грозились повесить его на самом высоком мадридском столбе. Трое последних исключительно из зависти.

Надя расхохоталась, проявив достаточно ума, чтобы не поверить нелепым фантазиям Кавальери, а ее подруга обласкала меня долгим внимательным взглядом – поправив при этом белокурую прядку и нежно приоткрыв умело обрисованный ротик. И, конечно же, ничего не поняв из того, что городил тут Пьетро. Она тоже была невероятно мила, примерно той же конструкции, что и Надя, но с еще более заметной грудью, возможно и содержавшей излишек, ощутимый во время прогулок, но в известных обстоятельствах суливший мужчине радостное потрясение. Не меньшее обещали и чувственные голубые глазки искренней и опытной шалуньи.

Фокстрот окончился, заиграло танго, и Пьетро, взяв Валию за руку, решительно повел ее в круг. Я поклонился Наде и спросил, добавив в голос долю неуверенности в ее позитивном ответе:

– Вы позволите?

– Это даже не вопрос, – повторила она излюбленную фразу Пьетро Кавальери. И улыбнулась в ответ.

Аргентинский танец я любил со студенческих лет и, хотя гениальным танцором не был, в целом неплохо справлялся с его основными па. Надя, как выяснилось, тоже. Положив мне руку на плечо, чуть откинув назад головку, слегка закусив губу (и напомнив мне феодосийскую горничную), она словно вбирала в себя разливавшуюся по залу мелодию – со всеми ее рублеными и плавными частями, стремительными подъемами и мягкими спусками, скрипками, аккордеонами и ударными. Я радостно ощущал ладонью гибкую талию, упругую и податливую одновременно, и не в силах был оторваться от сияющих загадочным счастьем огромных и весьма неглупых глаз. А потом, когда музыка смолкла, не мог понять, отчего Надежда сделалась серьезной и печальной.

– Вам нехорошо? – спросил я ее, на сей раз безо всякого притворства.

– Что вы, что вы. Было так чудесно. Просто нам с Валею пора уходить.

Мы договорились о встрече на следующий день, на четыре часа пополудни.

* * *

– Так ты еще не понял, что война проиграна? – удивленно спросил меня Пьетро во втором часу ночи, когда мы, и без того выпив больше, чем планировали, по-прежнему не могли остановиться.

Моя рука с бокалом красного замерла на полпути между столом и губами.

– Кем?

– Нами, разумеется, – пожал плечами Пьетро, нимало не смущенный моей непонятливостью.

Я глубоко задумался. Разговор принимал неожиданный оборот. Пусть и довольно любопытный. Подозреваю, что подобные беседы в этой русской квартире, где обитал ныне Пьетро, велись далеко не часто.

– Честно говоря... – промямлил я, еще не придумав, как продолжить.

– И знаешь когда? – снова спросил Кавальери.

– Ты хочешь сказать, зимой? – высказал я первое предположение, имея в виду московскую неудачу германского вермахта.

– Раньше, – отрезал Пьетро, гордый своей прозорливостью. – В июне прошлого года. Двадцать второго числа. Когда тевтонский маньяк напал на Россию, а лучший друг итальянских физкультурников вприпрыжку поскакал за ним – вместе со всеми этими хорти, тисо, антонесками и павеличами.

– Пожалуй, ты преувеличиваешь, – попытался возразить я ему. Но он не услышал, продолжая развивать свою мысль, если вдуматься – не столь неординарную. Но это, конечно, если вдуматься.

– А может быть, и раньше. Нельзя воевать против всего мира с его неисчерпаемыми людскими и материальными ресурсами. Тем более, когда не понимаешь зачем. Это азбука стратегии, хотя я никогда в ней не был силен.

«Потому и застрял в своем паршивом листке», – прозвучало в моем мозгу. Я внимательно посмотрел на Пьетро: неужели и в нем заговорил озлобленный неудачник?

– А они знают об этом? – спросил я, подразумевая русских.

– Знают, – спокойно ответил Пьетро. – К тому же у них нет выбора. Они защищают элементарное право на жизнь. Не дутые идеалы, не спесивых вождей, не какой-нибудь новый «изм»: фашизм, национализм, социализм, – он словно выплюнул три последних слова, – а просто родину. В самом банальном смысле слова, то есть место, где родился, где живешь. Их идеологи прекрасно поняли это, назвав войну «отечественной». Они в самом деле воюют за отечество, даже если порою думают иначе.

– А мы?

Пьетро печально пожевал губами.

– За слова. «Революция». «Держава». «Величие». И разумеется, «империя» – как же без нее? «У Италии наконец появилась своя империя». – Выставив вперед челюсть, он очень похоже воспроизвел пассаж из речи вождя по случаю взятия Аддис-Абебы. – А еще из благодарности – за то, что австрияк не бросил нас в Греции, куда мы вперлись, возомнив себя наследниками римских легионеров.

Он тяжело вздохнул и подлил мне вина. Я медленно отпил и посмотрел ему в глаза.

– Так, по-твоему, всё, что сейчас происходит, не имеет никакого смысла? Эти жертвы, эта кровь?

Он вздохнул опять.

– Для русских имеет. Для нас – нет. Мы просто переживаем агонию – и весь вопрос в том, на сколько лет она растянется.

– И что потом?

– Конеч, – сказал он всё с тем же полнейшим спокойствием. – Хотя кто знает? Может, удастся еще договориться о мире не на самых позорных условиях. Но уже без этих двух.

Я отпил еще глоток, подцепил серебряной хозяйской вилкой кусочек вяленого мяса и завернул его в чрезвычайно тонкую белую лепешку. Досадно, но маслин в Симферополе не водилось, а времени позаботиться о приличных салатах и горячем блюде с гарниром у Пьетро не отыскалось. При количестве выпитого нами за вечер данное обстоятельство приобретало роковое значение.

– Грустно всё это.

– Ты знаешь, я привык к этой мысли. К трупам привыкнуть не могу, а на это давно наплевать. В отличие от великих полководцев, у которых всё наоборот. Можешь считать меня пацифистом.

– Ты изменился, – заметил я.

– Ты тоже. Сразу же после Абиссинии, только не хочешь себе в этом признаться. Но хватит о грустном. Я вижу, тебе приглянулись русские барышни?

Я кивнул. Пьетро подлил себе и мне вина. (Именно в таком порядке, что свидетельствовало о глубочайшей степени опьянения.) Потом задумчиво проговорил:

– Я тебя понимаю и сам сожалею, что познакомился с ними совсем недавно, всего три недели назад. Надя – это сокровище. Но не рассчитывай на быстрый успех, над этим бриллиантом нужно потрудиться. Я не пытался. Впрочем, он драгоценен сам по себе, без практического применения. И даже не нуждается в оправе. А Валя оправляет ее совсем не плохо, правда?

Я не мог с ним не согласиться.

– Кстати, имя Нади означает «надежда», – добавил Пьетро.

– Speranza, – повторил я за ним. – На что?

* * *

Утром русские не очень успешно бомбили железную дорогу. Спросонок я услышал, как над городом взвыли сирены, в районе станции затарахтели зенитки, несколько раз громыхнуло – и снова сделалось тихо. Посмотрев на часы, уронил голову на подушку. Вчерашний перебор давал о себе знать. Предстоящая встреча с Надей представлялась не столь соблазнительной, какую казалось мне вечером.

Не без труда сумев выйти к обеду, я встретил в буфете Грубера, свежего и довольного жизнью. Пергидрольная женщина-вамп оказала на пропагандиста менее разрушительное воздействие, чем алкогольные излишества на меня. Скорее наоборот – вдохнула в доктора новые силы. В этом смысле ученый-славист сам был успешным вампиром.

– Как спалось? – сказал он мне вместо приветствия.

– Лучше не бывает.

– Я вчера наблюдал вас с одной довольно милой особой.

– Сегодня я с ней встречаюсь, – признался я без энтузиазма.

– Желаю удачи. Но будьте осторожны. Это Россия.

– Можно подумать, вы были сегодня с француженкой.

Он рассмеялся.

– У меня, Флавио, безошибочный нюх. Я никогда не сделаю ничего, что могло бы повредить мне и нашему общему делу. И не стану встречаться с кем бы то ни было, в ком не уверен на сто процентов.

– Эта девушка вызывает у вас подозрения? – вяло поинтересовался я.

– Ничего подобного. Но безграничного доверия тоже. А я не люблю неопределенности.

Ни в чем. Prosit.

– Prosit, – уныло ответил я.

Но уныние вскоре прошло. Обед с бокалом белого вина взбудрил утомленную за ночь душу, и к назначенному времени во мне опять проснулся апеннинский романтик.

На этот раз Надя была одета еще скромнее, чем накануне. Вместо вчерашних стоптанных туфелек на ней были сандалии, вместо чулок из персидской нити – белые короткие носочки (полагаю, не единойштопанные), вместо относительно нарядного сиреневого платья – нечто светлое в синий горошек. Однако свет дня, этот безжалостный разоблачитель вечерней женской фальши, несколько ей не повредил. Умные глазки стали только выразительнее, щеки светились природным румянцем, губки алели без всякой помады, а крепкие ножки сияли золотистым загаром. Иными словами, всё было натуральным и, подобно итальянской экономике, не нуждалось в чужеродных добавлениях.

Я вздохнул глубоко и безнадежно. Притворяться было бессмысленно.

– Вы так прекрасны, Надежда.

Она смущенно улыбнулась и принялась рассматривать асфальт под ногами. Я не знал, как продолжить, и, чтобы не дать разговору повиснуть, позволил себе относительно безобидную пошлость.

– Ваш Симферополь напоминает мне оранжерею, в которой произрастают прекраснейшие цветы России.

Получилось на удивление удачно – к моему и Нади удовольствию тема сразу же отыскалась.

– Мы с Валею обе из Ялты, – сказала она.

Я удивился, вернее изобразил удивление. Ведь Кавальери уже говорил о Южном берегу Крыма.

– Почему же вы здесь? Ведь там у вас гораздо лучше. Горы, море. Приехали в гости к родственникам?

– Здесь спокойнее. Не бомбят. Ялту бомбят часто.

– Кто?

– Наши, – ответила она и, чуть замешкавшись, поправилась: – То есть русские... красные... советы... рохос.

– Росси, – поправил я. Видимо, Надя хотела сказать по-итальянски, но испанский в ее стране был гораздо популярнее.

Мы медленно пошли по улице. Слово за слово разговор начал клеиться. Я взял ее под руку. Она не стала возражать, хотя зачем-то всё же оглянулась.

Выяснилось, что у нее и у Вали есть родственники в Симферополе, у одной тетка, а у другой дядя (или наоборот). Что сейчас многие перебираются в Симферополь, здесь легче устроиться... и вообще безопаснее. Что в Ялте жил писатель Чехов («Вам нравятся его рассказы? А пьесы?»), и вообще в Крыму перебивало множество русских писателей, композиторов и живописцев. Лев Толстой защищал Севастополь. В Коктебеле жил некий Волошин. В Балаклаве обитал Куприн и какая-то знаменитая украинка по имени Леся. (Надя сказала: «Леся-украинка», – а потом перевела: «Lessja die Ukrainerin».)

К своему стыду, я не знал, кто из великих итальянцев хоть как-то был связан с Крымом. Вспоминался один Гарибальди, который в Крыму не бывал, но выступал за участие Сардинии в осаде Севастополя – поскольку по его, Гарибальди, мнению, это бы возвысило Пьемонт и способствовало объединению Италии. Но в такой своей роли пламенный Джузеппе проигрывал безобидному страдальцу Чехову, и потому я решил воздержаться от упоминания о величайшем уроженце Ниццы. Я даже позабыл про генуэзцев. Надя сама рассказала, что в Балаклаве сохранились руины генуэзской крепости, сильно разрушенной недавним землетрясением, но там сейчас линия фронта.

Мы вошли в небольшой скверик, зеленый и уютный, защищенный от городского шума каштанами, акациями и какими-то другими насаждениями. Разбросанные вдоль дорожек пустые скамейки выглядели крайне соблазнительно, но когда я предложил Надежде посидеть, та покачала головой и указала на двуязычную надпись «Только для немецких солдат». Я махнул рукой: ерунда, нас это не касается, – но она твердо сказала «нет». Я не стал с ней спорить и продолжил прогулку. Мы незаметно перешли на «ты».

– Сколько тебе лет? – задал я вопрос, который бы мог показаться бестактным, если бы не существовавшая между нами внушительная разница в возрасте.

– Уже двадцать.

Я насмешливо переспросил:

– Уже?

Она ответила с присущим ей достоинством:

– Я была в одном учреждении.

– О-о! – протянул я слегка озадаченно, вспоминая намеки Грубера. Из мыслимых учреждений мне представились первым делом мокрые от крови подвалы Винницы, Лубянки и Кремля. Однако я быстро сообразил, что речь идет не об Institution, а об Institut, можно сказать об istituto. Переспросил:

– In einer Hochschule?

– Ja, ja, – закивала она. – Hier, in Simferopol.

Мы слонялись по улицам и скверам около часа. В моей излюбленной манере гулять по чужим городам – постоянно меняя направления, перемещаясь с улицы на улицу, с площади на площадь, из переулка в переулок. В какой-то момент, когда я в очередной раз захотел свер-

нуть и направиться в сторону гремевшей поблизости железной дороги, Надя вдруг резко остановилась и заявила – так же твердо, как тогда, когда отказалась сесть на предназначенную для немцев скамейку:

– Нет, туда я не пойду. Лучше в кино.

Мы как раз оказались неподалеку от кинотеатра – по словам Нади, еще одной достопримечательности Симферополя, поскольку в Ялте кинотеатры не работали.

– В кино? – спросил я ее. И с некоторым опасением показал на афишу, с которой угрожающе глядела зловещая физиономия еврейского плутократа эпохи Просвещения. В том, что это не кто иной, как он, убеждало написанное кириллицей название фильма – «Жид Зюсс». (Славянское слово «жид» я, как уже говорилось, узнал от Зорицы.)

– Если это, то я уже видел.

Похоже, Надя уловила мое нежелание смотреть сей сомнительный Meisterwerk, и оно вызвало ее сочувствие. Она успокаивающе повертела головой.

– Нет, это завтра, сегодня будет это, – и показала на другую афишу, изображавшую широко шагавшего молодого человека в белой шляпе и с улыбкой до ушей. Подпись гласила «Веселые ребята». Я не понял, что она означает, но Надя перевела: – Lustige Kerle.

Название обнадеживало. Афиша была довоенной, и цифры с указанием числа и сеанса на ней уже не раз заклеивались новыми. Тем не менее я спросил (мало ли какие шедевры производил сталинский кинематограф, если даже Чинечитта порой выдавала такое, что хотелось чесаться при просмотре):

– А это, собственно, что?

– Комедия, – улыбнулась она как-то особенно трогательно. – Наша комедия.

– Это интересно, – сказал я безо всякого лукавства.

Как раз был должен начаться сеанс, и я купил билеты. В полутемном зале, куда мы вошли, русских было значительно больше, чем немецких солдат, и это не удивляло, поскольку фильм шел на русском языке. Солдаты сидели кучками, не смешиваясь с туземцами, что-то себе жевали и, пока не погас свет, громко переговаривались. Показанный вначале выпуск «Еженедельного немецкого обозрения» был наисвежайшим, в нем рассказывалось о Керчи. Я вновь увидел знакомый пролив и гору Митридат (еще прошлогодней съемки), а потом уже свежие кадры керченской степи, разбитой техники и колонн бесчисленных военнопленных. Немцы радостно заплотировали, а Надя шмыгнула носом, как при насморке, и неловко от меня отодвинулась. Но вытянуть ладошку из моей руки я Наде не позволил – и спустя некоторое время вновь сумел привлечь ее к себе.

А потом на экране появился молодой человек с киноафиши и, погоняя коров, принялся распевать маршеобразную и донельзя оптимистическую песню. Я ощутил, как в моей ладони чуть заметно и, видимо, непроизвольно подрагивают в такт музыке Надины пальцы, посмотрел на нее, она на меня, и мы оба улыбнулись. С экрана прозвучало что-то смешное, и люди вокруг рассмеялись, даже немцы. Еще раз улыбнувшись Наде, я заставил себя следить за действием фильма, и хотя мне мало что удавалось понять, смеялся я вместе со всеми, потому что не мог не смеяться, когда смеялась Надя. Мы часто переглядывались, иногда она пыталась мне что-то объяснить – и тогда невольно прижималась ко мне, что вселяло в душу романтика самые радужные надежды.

В целом картина производила впечатление старомодной и банальной, однако обладала наивной прелестью – несмотря на чудовищный монтаж. Звучало много музыки, простенькой, как Надино платье, но веселой и запоминающейся. Юмор сводился к клоунаде, глуповатой, но местами забавной, особенно для человека, последними впечатлениями которого было степное бездорожье, учебные лагеря и движение автоколонн. Побоище между оркестрантами до боли напоминало нечто виденное мною в юности, однако выглядело потешно. Зрители, наверняка смотревшие на это в сотый раз, буквально надрывались от смеха.

Фильм подошел к концу, поползли последние титры. Я поглядел на Надю. Поглядел – и поспешил отвернуться. Мне показалось, она плачет. Я не стал ни о чем ее спрашивать. Тем более что заметил, как дама в ряду перед нами вдруг уронила голову на руки и плечи ее задрожали. Загорелся свет. Опасаясь смотреть на Надю, я растерянно вертел головой по сторонам – и невольно обращал внимание на всхлипывающих женщин.

Повисла тишина. Немцы, глядя перед собой, молча пробирались к выходу. Лишь один, в унтерофицерской фуражке, горделиво пялился на русских и старался держаться викингом, крестоносцем и Дитрихом Бернским в одном лице. Но и он не посмел произнести ни слова, даром что был не один, а в сопровождении подчиненных.

– Пойдем, – прошептала Надя.

Я кивнул и пошел вслед за ней, молча, как немцы. Странная реакция отдельных зрительниц подействовала на меня удручающе.

– Уже поздно, – сказала Надя на улице после долгого молчания. – Мне надо идти домой.

Рядом никого не было, и я попытался ее обнять. С целью поцеловать, разумеется. Она высвободилась и попросила:

– Не надо. Пожалуйста.

Я изобразил частичное раскаяние и прибегнул к одному из бесчестных приемов.

– Понимаю. Я стар для тебя.

– Неправда, – возмутилась она. И я почувствовал – возмутилась искренне.

– Значит, я просто тебе не нравлюсь, – опять надавил я на жалость, осторожно заводя свою руку ей за спину.

– Тоже неправда, – прошептала она чуть слышно и мягким движением вернула мою ладонь в исходное положение. – Ты хороший. Правда, хороший. Не такой...

– И тем не менее я тебе совсем не нужен, – проговорил я голосом, полным тоски.

– Но мы ведь знакомы всего два дня, – нашлась Надежда. – Даже меньше. Сутки.

Она укоризненно посмотрела мне в глаза, и я окончательно удостоверился, что передо мной прекрасная, чудесная, восхитительная, но, увы, до невозможности порядочная девушка. Пребывающая – несмотря на революцию, марксистскую теорию и вероятное членство в коммунистическом союзе молодежи – в плену традиций и предрассудков прошлого столетия. И это тоже по-своему трогало.

– Не сердись, – сказал я. – Я просто хотел тебя поцеловать. Ты очень красивая. Больше не буду.

И тогда она, чуть приподнявшись на носочках, легонько чмокнула меня в щеку. И позволила сделать то же самое мне. А потом сказала:

– Всё. Теперь иди домой.

– Я хотел проводить тебя, – сказал я, вовсе не пытаясь ковать железо. – Тут небезопасно.

Патрули.

– Время до комендантского еще есть. Иди домой. Я прошу тебя, Флавио.

И ушла, оставив меня с разбитым вдребезги сердцем. А также в раздумье. Скажем, на тему, что бы могли означать слова «не такой». Она имела в виду – не такой, как все? Но это было неправдой, я не был лучше других мужчин. Не такой, как немцы? Но откуда ей было знать, ни о чем таком мы не говорили. Или я источал какие-то правильные флюиды? Мне сделалось неловко. Я никогда не любил обманывать девушек, тем более таких славных, как Надя.

Я стал обдумывать, что бы ей подарить. Чулками тут было не отделаться. О них вообще следовало забыть как о вещи в данной ситуации совершенно неприличной. Духов было недостаточно, равно как цветов, ресторанов и кафе. Необходимо было завоевать ее душу – или постыдно остаться навеки в друзьях. Возможно, подошли бы книжки, альбомы, репродукции – я видел на улицах стариков-букинистов, пытавшихся заполнить за старые издания хоть какие-

нибудь гроши. Но что я понимал в русских книгах и русском искусстве? Стоило посоветоваться с Грубером. Если он, конечно, не пребывал в пергидрольных объятиях.

* * *

В понедельник я переселился на квартиру Пьетро. Прощание вышло недолгим и деловитым. Я передал ему отснятые мной пленки, пару пространных статей и крепко пожал загоревшую на крымском солнце руку. Мне не терпелось впервые за месяц странствий обрести свое собственное жилье, ему – покинуть Симферополь, Крым, Россию и Восточную Европу. Наши желания пребывали в полной гармонии.

С Надей в этот день мы встретились случайно. По крайней мере, так мне показалось. Она задумчиво стояла на центральной улице, всё в том же светлом в горошек платье. Я подошел к ней и поздоровался. Ее радость от встречи не выглядела чрезмерной, если вообще было можно говорить о радости. Но я не смутился, зная, что опытный человек всегда в состоянии заставить девушку улыбнуться. Тем более если этот человек – профессиональный литератор.

– Ты куда не торопишься? – спросил я ее.

Надя пожала плечами.

– Скорее нет. А что?

– Пройдемся?

– Если недолго.

Я пообещал, что прогулка будет наикратчайшей, и постарался сделать всё, чтобы Надя не захотела покидать меня как минимум до комендантского часа. Я уже был близок к цели – она начала оттаивать и несколько раз улыбнулась. Но вдруг на ее лицо набежала тень, а глаза распахнулись, словно она увидела нечто невыносимо страшное.

Я резко обернулся. Ничего экстраординарного на улице не происходило. Редкие прохожие, немецкие солдаты, румынский офицер, татарский полицейский... К тротуару жалась конная коляска, пропускавшая выкрашенный в серо-зеленый свет глухой автофургон. И похоже, дело было как раз в фургоне.

Он ехал очень медленно, сопровождаемый двумя мотоциклами. Один шел спереди, другой катился сзади. Мне показалось, что я уже видел сегодня эту процессию. И сказал об этом Наде. Она кивнула головой, растерянно и испуганно.

– Что это? – спросил я очень тихо, и она так же тихо, почти шепотом ответила:

– Мы называем это «душегубка». «Душа» значит «die Seele», «alma», а «губить», – она заколебалась, подбирая слово, – «töten», может быть... «Matar».

Я ничего не понял и вопросительно посмотрел ей в глаза. Тем временем машина прошла мимо нас, и в этот момент Надя крепко вцепилась мне в руку. Как маленький ребенок, который боится, что взрослый оставит его одного в темноте.

– Там люди, – прошептала она, – и газ. Их возят – чтобы умирали.

Я был поражен. То, о чем говорила Надя, казалась невероятным. Глупым вымыслом, одним из тех, к которым прибегают потерпевшие поражение. С единственной целью – представить своих победителей извергами и монстрами. Мало ли небылиц сочинялось про немцев в четырнадцатом году? Газетные гунны ели фламандских детей, запивая их кровью брабантских девственниц, и в лучшем случае плясали на рояле в сапогах. И мало ли люди Геббельса ввали теперь о русских? Но Надя не походила ни на фантазеров, ни на повторявших чужие фантазии попугаев. Я осторожно спросил:

– Откуда ты можешь это знать?

– Все это знают, – сказала она. – Немцы говорили.

– Немцы? Сами? Ты не путаешь?

Она молчала. Я не унимался. И даже схватил ее за плечи.

– Но зачем? Зачем говорили? К чему вся эта демонстрация? Ты можешь ответить?

Ее глаза сделались злыми. Сбросив мои руки, она выкрикнула – шепотом, но все-таки выкрикнула:

– Чтобы помнили. Кто теперь хозяин. Прости, мне нужно идти.

Я не стал напрашиваться в провожатые и остался стоять, молча глядя ей вслед. Присел на скамейку под кустом акации. В голове непрерывно гудело. В ней будто что-то разорвалось, и мне предстояло справиться с последствиями разрыва.

Я никогда не обольщался на чей-либо счет и, будучи военным репортером, видел множество гадких вещей. В Абиссинии, Испании и, конечно, в России – во время путешествия с Грубером. Не видел, так слышал. Но тут, рядом с Надей, в центре города, так откровенно? «Всё это чепуха, – убеждал я себя. – Она славная девушка, но она русская и испытывает психологическую потребность ненавидеть врага. Это ее право, но ты не должен попасться на эту удочку». И словно бы опровергая мои жалкие доводы, вновь показался страшный кортеж. Неторопливый, как и в прошлый раз. Я вглядывался в лица мотоциклистов, но из-за пылезащитных очкоконсервов почти ничего не видел. Не в силах подняться с места, я присидел на скамейке целый час. За это время они проехали еще дважды.

Небо стало сереть. Забыв о скором приближении комендантского часа, я побрел наугад – и вышел к месту, где Надя в воскресенье решила повернуть обратно. Я двинулся в том направлении и вскоре узнал причину ее нежелания продолжить путь. По сравнению с газовой машиной причина выглядела тривиальной. Собранная из прямоугольной арматуры виселица, на которой болталось семь трупов. Рядом, с длинной винтовкой в руках, слонялся доброволец-татарин. Бросив взгляд в мою сторону и удостоверившись, что я иностранец (поразительно, но в России каждый с легкостью определял мою неместную принадлежность), доброволец продолжил свой путь. А я, подавив дурноту, взялся выяснять, в чем состояла вина казненных. О ней сообщали таблички на груди. Было довольно светло, и я смог разобрать сделанные крупными русскими буквами надписи. Более краткие и более емкие, чем эпитафия на камне у Фермопил. «Она помогала бандитам», «Коммунист», «Жидовка», «Бандит», «Саботажник». Демонстративность имела, таким образом, воспитательное значение и была призвана дисциплинировать туземцев. Какое воздействие она должна была оказывать на солдат союзных армий, сказать было сложнее. Но вряд ли высшее командование задавалось подобным вопросом. В моей душе шевельнулось неясное и очень тоскливое предчувствие. Пришло, но сразу же ушло – благодарение Богу.

Я развернулся и быстро зашагал к дому Пьетро Кавальери, ставшему отныне моим.

* * *

На следующий день, после поездки в татарскую деревню, Грубер познакомил меня с одним из сотрудников службы безопасности, оберштурмфюрером Фридрихом Листом. Встреча произошла в гостиничном ресторане. Элегантный оберштурмфюрер пришел не один, а с симпатичной блондинкой. Крашенной – однако не столь вульгарно, как Груберова женщина-вамп, и звонко хохотавшей от шуток филолога, остроумие которого возбуждал роскошный бюст, сиявший подобно солнцу из обширного декольте. «Везет же людям!» – посетовал он, когда Лист, пообещав устроить выезд на контрпартизанскую акцию, покинул ресторан, уводя за собою блондинку.

– Вам-то что мешает? Надо всего лишь приложить небольшое усилие, а не довольствоваться тем, что валяется под ногами.

– Это время, Флавио, понимаете, время! – с досадой ответил Грубер. – А я с юности приучен отцом не тратить понапрасну ни минуты. Наука превыше всего. Я ведь даже художественной литературы не читаю. Достоевский и русские писатели не в счет – это моя профессия.

Но иногда я умираю от зависти и думаю, не совершаю ли глупость. – Взгляд зондерфюрера стал непривычно грустным. – Однако имейте в виду – возможности офицеров службы безопасности несопоставимы с возможностями скромного пропагандиста. В этом они дадут фору даже художникам, пишущим ню с хорошеньких натурщиц. Бездарные сволочи.

Мне прежде и в голову не приходило, что за черти беснуются в потемках докторской души. Я как мог постарался его утешить, не рискуя давать советов. Потом мы выпили по бокалу шампанского и разошлись. Он в свой номер – в надежде поймать по пути заваливающую горничную, – а я к себе домой. Без надежды и, как оказалось, ошибочно. Грубер бы умер от зависти. И даже Лист – ведь в отношении к нему пышногрудой блондинки не было ни грана бескорыстного чувства. В моем же случае только оно и присутствовало.

Когда я дошел до бывшего дома Пьетро, окончательно и бесповоротно стемнело. В садах затрещали цикады, небо покрыли мириады светил, с гор спустился прохладный ветер, а в душу – легкая грусть. Ни при воскресной, ни тем более при последней встрече с Надеждой мы ни о чем не условились, и пора было свыкнуться с мыслью, что моей девушкой в этом городе будет совсем не Надя. И вопрос еще – будет ли у меня в этом городе девушка. Хорошая девушка, разумеется, а не дешевая горничная или пергидрольная шлюха. Я вздохнул, печально и безнадежно, почти как Грубер.

Тень, неожиданно выступившая из-под густого платана, не напугала меня нисколько. Во-первых, рядом был немецкий патруль (я только что предъявил документы и полученный от Листа особый ночной пропуск). Во-вторых, итальянский репортер никому не был нужен. А в-третьих – силуэт был женский и довольно приятный на вид. Я осторожно – чтоб не заметили с улицы – посветил фонариком и увидел перед собою знакомые ласковые глаза, слегка приоткрытый рот и красивую полную руку, убиравшую прядку со лба.

– Валя? – прошептал я в искреннем изумлении.

Она одарила меня улыбкой и произнесла довольно длинную при ее познаниях в немецком фразе. Если абстрагироваться от речевых неуклюжестей, общий смысл заключался в следующем:

– Флавио, я тебя заждалась. Пригласи меня к себе. Мне холодно и грустно. Уже комендантский час, и мне нельзя идти домой. *Estoy cansada y tengo sueño.*

Я был растроган, в особенности неожиданной испанской вставкой – красноречивым свидетельством того, что девушка запомнила всё, что рассказал обо мне Кавальери. Ее настроение совпадало с моим, а подобные совпадения душевных камертонов обещают нечто экстраординарное. Но всё же я полюбопытствовал, постаравшись, чтобы голос звучал добродушно:

– Откуда ты знаешь, где я живу? Выследила?

Она хмыкнула.

– Еще чего. Пьетро сказал, что тебя поселят в его квартире.

Конечно же, и как я мог забыть...

– Ты у него бывала?

– Внутри еще нет. *No crees?*

Я поверил. Охотно и даже с сочувствием к предшественнику. Похоже, горькие мысли о войне лишили Пьетро последних сил и стремления к личному счастью.

Я достал из кармана ключ и пропустил Валентину вперед. Как заговорщики, стараясь не шуметь, мы пробрались по узкому коридорчику и оказались у моей двери.

– Заходи, – шепнул я ей на ухо. И невольно задрожал от аромата духов, недорогих, но подобранных умело и со вкусом. Естественным следствием моего возбуждения, едва мы переступили порог, стали жаркие объятия и серия длительных поцелуев. Инициатива принадлежала мне, но разумных возражений у Вали не отыскалось.

Квартирка ей понравилась. Усевшись после поцелуев в кресло, она с интересом обвела глазами набитые книгами полки, массивный письменный стол, лампу с зеленым абажуром,

широкий раскрытый диван и плотные шторы, которые я тщательно задернул, прежде чем зажечь неяркий свет. Потом она встала и заглянула в ванную. Проверила, есть ли вода, и осталась довольна. На кухню не пошла – та была общей, а выходить в коридор Вале совсем не хотелось.

Пока она бродила по жилищу, я проворно достал из чемодана кое-какие вещички, купленные накануне у одного интенданта. Купленные просто так, на всякий случай, без всякой задней и конкретной мысли. Увидев чулки и флакон с туалетной водой, Валя не стала выражать восхищения. Отказываться, впрочем, тоже. Лишь вздохнула и порассуждала вслух.

– А что поделаешь, Флавио? Жить как-то надо. Не зря же мы в школе немецкий учили. Жизненный опыт опять же.

Потом повернулась ко мне спиной и попросила:

– Расстегни, пожалуйста. Только не думай, что я из-за подарков. Ты мне на самом деле нравишься. И Надя про тебя хорошо говорила. Yo te quiero. Ein bisschen.

Деликатно перебирая пальцами, я занялся Валиной блузкой. Было чертовски приятно вновь ощутить себя галантным кавалером, сумевшим к тому же понравиться самой неприступной Наде. Что же касается Валиного хохдойча, я быстро к нему привык и вскоре стал воспринимать ее фразы как нечто вполне законченное, словно бы мое подсознание подрядилось на роль литературного редактора. Однако упоминание о *Lebenserfahrung* меня развеселило.

– У тебя богатый словарь, – проговорил я, помогая ей справиться с бюстгальтером, которму на самом деле было что поддерживать. – Жизненный опыт...

Она улыбнулась и, ступая как балерина, вышла из упавшей прямо на пол юбки. Я поспешил поднять ее с паркета и положить на стул, рядом с блузкой и лифчиком. Валя же рассудительно заметила:

– Жизненный опыт нужен. А вот это, пожалуй, нет.

После чего, блаженно ойкнув, упала спиной на диван и, слегка приподняв в полусгибе красивые сильные ноги, освободилась от шелковых трусиков. Задумчиво подержала их в руках, потом изящным жестом раскрутила над головой и грациозно отбросила в сторону. Вышло эффектно, во всяком случае для меня, имевшего некоторое представление о летних качествах разных объектов и женских навыках в данной области.

Описавши в воздухе дугу, интимнейший предмет мягко опустился на лампу, сообщив и без того неяркому освещению дополнительную интимность. А Валя откинулась на подушки и дала разъяснение по поводу словарного запаса.

– Это мне Надька сказала, она у нас отличницей была. А жизненный опыт – вещь хорошая. Хоть что-то с вас иметь, если уж к нам приперлись.

Строго говоря, она употребила нейтральное «*gekommen*», однако я услышал именно «приперлись» – интонация сомнений не оставляла. Но так или иначе, суждение Вали показалось мне резонным, и я без долгих разговоров подарил ей всё, что мог. И получил взамен совсем не мало.

* * *

Поутру Валентина в восторге плескалась в ванной. Горячей воды, разумеется, не было, но холодная оказалась не столь уж холодной, а они с Надей купались в море до поздней осени.

– Мы были физкультурницы, *las deportistas*, – объяснила она через дверь. – Понимаешь? У вас в Италии много физкультурниц?

– Хватает, – ответил я, вспоминая Елену с ее пристрастием к горным курортам, австрийцам и швейцарцам. Во время моих первых командировок, еще до Тарди.

– Какие виды спорта?

– Всякие. Лыжницы, например. А у тебя какой был?

– Легкая атлетика. Но я больше танцевать люблю, bailar. Потому что люблю, и чтобы ножки были красивые. Те gustan mis piernas?

– О-о! – простонал я, не в силах выразить восторга.

– А физкультурников у вас много?

– А я, по-твоему, не физкультурник? – ответил я, подумав, однако, про дуче и про то, как его обозвал Кавальери.

– Еще какой! – рассмеялась она, выходя из ванной в комнату. Обнаженная и величественная, как эллинская богиня физической культуры. С влажными растрепанными волосами и серебриющимися каплями на теле. – Я утром тоже красивая?

Я снова что-то простонал. Чувствуя, что еще немного – и я разучусь высказывать мысли и стану говорить на любом наречии хуже, чем Валя на языке Фейербаха и Лойолы. Она же, приоткрыв дверцу шкафа, занялась изучением книжных фондов.

– Тут и немецкие есть, Флавио. Сможешь читать в свободное время.

– Вряд ли оно найдется.

– А эта на французском вроде бы.

Она передала мне книжку в синем переплете.

– Верно, – ответил я, бросив взгляд на титульный лист. – Вольтер, «Орлеанская девственница». Прямо про нас с тобой.

– А эта? Итальянская?

– Итальянская. Надо же, де Амичис... «Ieri sera è morto Garibaldi. Sai chi era?»

– Кто-то умный жил. Смотри – тут знак. – Она показала мне раскрытый том с фиолетовым экслибрисом. – И тут такой же, – удивленно пробормотала она. – И тут. Слушай, я знаю, чья это квартира!

– Чья? – обеспокоился я, в общем-то полагавший, что в настоящее время квартира является моей. Валя бережно положила книгу на стол и взяла со стула одежду.

– Я знала этого человека. Доцент Виткевич. Он работал в Надькином институте и умер зимой. От голода.

Я сочувственно вздохнул. Помочь кому-либо я был не в состоянии. Валя озабоченно забралась с ногами в кресло и слегка прикрылась юбочкой. Было видно – она расстроена.

– Его звали на службу в управу. А он отказался. Потому и голодал. Comprendes?

Я вздохнул опять и решил никуда не ходить до обеда. Оставлять Валю одну и тем более выставлять ее на улицу было бы откровенным свинством.

Мы позавтракали тем немногим, что нашлось в моей дорожной сумке, а потом опять лежали на диване и вели неспешный разговор. О Крыме, Симферополе и Ялте, о Пьетро Кавальери, Наде Лазаревой и неизвестной мне Любове Фисанович, расстрелянной немцами в прошлом году и зарытой во рву на окраине города. И снова о Наде, к которой Валентина относилась почтительно, но не без юмора.

– Надька, она такая... У нее папа – моряк. Он ее ноги морским узлом завязал, а как развязать – не объяснил. А моя мамочка – портниха. Связала мне ножки бантиком, дерни, донечка, за кончик, он и развяжется.

– Так это ты, выходит, дернула? А я-то думал, я.

– Мы вместе, – согласилась она и ловко перекатилась на другой конец дивана. Мелькнул очаровательный треугольник.

Вот оно, счастье усталого воина, подумалось мне в тот момент. Что тебе еще надобно, Флавио Росси? Вот она, прямо перед тобою, хорошая, милая, добрая девочка. Синие глазки исполнены нежности, бедра готовы открыться навстречу, два полушария дышат любовью – и всё это для тебя. И этот припухший безудержный ротик, и рука, что опять теребит белокурую прядку, и сияющий нежным бесстыдством живот, и внизу чуть взлохмаченный островок. А застывшая на дне этих глазок печаль – так стоит ли думать об этом? Ведь тебе порой тоже

бывает грустно и даже бывает страшно. А если двум славным людям становится страшно и грустно, им следует друг другу помогать.

– Потрогай меня, – сказала мне Валя. – Девочек надо трогать.

Я прикоснулся пальцами к теплому шелку и, задохнувшись от нахлынувшего счастья, вновь поддался непреодолимой силе.

– Ты у меня, Флавечка, зверь, – сказала Валя спустя примерно полчаса. – Красивый и волосатый, совсем как грузин.

– Почему грузин? – спросил я в недоумении. Сравнение было странным и, мягко говоря, неожиданным. Не хотела ли Валя сказать, что я чем-то похож на Сталина? Причина оказалась иной. Я сам бы ни за что не догадался, Грубер бы, подозреваю, тоже.

– А они у нас самые красавчики, – сказала Валя с мечтательной ноткой в голосе. – Южные, смелые, денег не считают, прямо как ваши. Только они азиаты, а ты европеец.

И, положив мне головку на грудь (волосатость которой представлялась ей достоинством), Валя быстро уснула. А я еще долго глядел в потолок. В раздумье о войне и мире, о сладком бремени белого человека и гордом счастье называться европейцем.

Тишина. Младший сержант Волошина Красноармеец Аверин

Двадцатые числа мая 1942 года, седьмой месяц обороны Севастополя

Дни проносились со скоростью, я бы сказал, «Мессершмиттов», меняя всё вокруг до неузнаваемости. Мenee двух месяцев прошло после прибытия в запасной, а казалось, будто и не было никогда другой жизни – без портянок и обмоток, винтовки и каски, подсумков и вещмешка. Меньше недели я пробыл на речке Бельбек – и уже с трудом верилось, что можно прожить без пыли и пота, кирки и лопаты, свирепого солнца над головой и голоса старшины Зильбера. И что не только в окопах полного профиля можно передвигаться не сгибаясь в три погибели, а лишь наклоняя голову.

В моей жизни появлялись новые люди, а кто-то навсегда исчезал или на время терялся. И я почти не вспоминал о тех, кого не было рядом, и мало что знал о тех, кто рядом был. Например, о Шевченко, в первый же день спасшем меня от глупой, по собственной моей дурости, смерти. Или о том же Зильбере.

* * *

В один из дней тяжело ранило осколками разорвавшегося над траншеей снаряда и в придачу засыпало землей военкома Зализняка.

Я увидел комиссара вечером. Меня вызвали к Бергману для тех самых бумажных дел, о которых говорил Зализняк. Недавно миной убило батарейного писаря, и в канцелярии скопилась писанина. Нужно было провести регистрацию прибывшего пополнения (то есть нас самих), оформить заказ на котловое довольствие и заполнить кучу других бумаг. Мне объяснили, как это делается, и оставили в закутке при блиндаже командира батареи.

Кроме телефониста, сидевшего с аппаратом в другом закутке, никого там больше не было. Так мне показалось поначалу. Что совсем рядом лежит Зализняк, мне в голову не пришло. Пока не появились Бергман и Сергеев.

С ними была незнакомая девушка, как я понял, из полковой санчасти (батарейного санинструктора Гошу Семашко я знал), а вместе с нею два немолодых, но здоровых санитар-носильщика. Санитары остались у входа, девушка, открывая на ходу медицинскую сумку, уверенно прошла за командирами. Я успел ее разглядеть, и она показалась мне красивой – несмотря на шаровары, которые и на мужчинах нередко выглядели по-уродски. Коротко подстриженные волосы были темными, нос немножко клювиком. В темно-зеленых петлицах тускло поблескивали треугольнички младшего сержанта. Я давно не видел женщины, но подумал совсем не о том, о чем был должен подумать мужчина. Посетившая меня мысль была на редкость идиотской: куда же она, бедная, по нужде-то бегаёт, неужели тоже, как мы...

– Вот, отправляюсь на отдых, – услышал я голос комиссара. – В самое неподходящее время. Понимаете, хлопцы-запорожцы?

– Понимаем, Федор Игнатьевич.

Я осторожно заглянул в окошко, проделанное в стенке, отделявшей «канцелярию» от главной части блиндажа, и увидел лежавшего на деревянном топчане военкома, возле которого сидела девушка. Сергеев стоял рядом с нею, Бергман устроился за грубо сколоченным из некрашенных досок столом.

Было видно – комиссару худо. Его лицо то и дело искажала боль, дыхание становилось прерывистым. Но он держался. Закончив говорить о делах, принялся балагурить.

– Вам вредно разговаривать, товарищ старший политрук, – сказала девушка.

Тот не согласился.

– А чем мне еще прикажешь заниматься? Дело мое такое, комиссарское, языком чесать. Правда ведь, Бергман?

– Правда, правда, – вздохнул капитан, – но Маринку слушай. За медицину она лучше знает.

Тут комиссар заметил меня. Выдавил улыбку.

– И ты здесь. А мне... не повезло. Ничего, оклемаюсь. Вот таким образом.

Девушка метнула на меня не самый приветливый взгляд. Я растерянно кивнул и нырнул обратно в тень. Зализняк опять обратился к командирам:

– Одних вас оставляю. Скорее бы уж Некрасов вернулся.

Младший политрук Некрасов был политруком нашей роты и находился в госпитале по причине нетяжелого ранения. Шевченко говорил, что парень он толковый, хотя и немного нервный, но что значит «нервный», не объяснял.

Когда санитары унесли комиссара и девушка – младший сержант удалилась, Бергман через окошко заглянул ко мне.

– Всё закончил?

– Так точно.

– Как служба?

– Хорошо.

– Жалобы имеются?

– Никак нет.

Сергеев не обошелся без замечания.

– Ты где, боец, по-старорежимному отвечать научился?

Я не стал объяснять, что от мертвого уже Рябчикова.

– Не знаю, товарищ старший лейтенант. Как учили.

– Слава богу, не «не могу знать», – усмехнулся Сергеев. – Ладно, если все сделал, дуй к своим, там сейчас Лукьяненко паек раздает. Не возражаешь, комбат?

Комбат не возражал.

* * *

Старшина нашей роты Лукьяненко был мужиком до крайности вредным. «Мужиком» в дореволюционном смысле слова, то есть деревенским жителем. При этом хитрым, прижимистым и сильно недолюбливавшим городских. Мне довелось однажды столкнуться с его предрассудками, но тогда я был в коллективе и рядом со мной был Шевченко. Теперь малоприятный разговор произошел с глазу на глаз.

Когда я появился рядом, старшина уже закончил выдачу и, завидев меня, в резкой форме проявил недовольство. Впившись в мое лицо небольшими и злобными глазками, скрипучим голосом проговорил:

– Где шляешься, как там тебя?

– У комбата был. Писал. Только что отпустили.

– Писатель... Не описался еще? Пролез ведь, гаденыш, втерся в доверие. Попадешься мне как-нибудь. Пшел к своим, получили на тебя давно.

От его жуткого сельского говора сделалось тошно, но виду я не подал. Спросил: «Разрешите идти?» – и отправился в отделение. Вид у меня был расстроенный. Шевченко сразу понял почему.

– Имел приятный разговор с Лукой? Вот козлице – ведь дождался тебя, проявил принципиальность. На, жуй.

Он пододвинул мне котелок с разведенным в воде концентратом из пшенки. Вытащив ложку, я принялся уныло жевать.

Лукой они с Зильбером за глаза называли Лукьяненко. Старовольский именовал старшину еще смешнее – Лукианенко, сильнеешим образом напирая на «иа». Старшине это, похоже, нравилось. Вероятно, он считал – так принято среди «образованных», поскольку звучало не по-деревенски. Хоть не любил городских, а всё же было приятно.

«Не вздумай при нем ничего сказать», – предупредил меня Шевченко несколько дней назад, когда я впервые увидел долговязую и жилистую фигуру со старшинской «пилой» в петлице и подозрительным выражением в маленьких узких глазах.

«Чего именно?»

«Всего. И вообще держись от него подальше».

Я и держался. Зато с Лукьяненко быстро снюхался Мухин, нашедший в старшине замену Рябчикову. «Хотел бы я знать, какие есть промежду них гешефты», – хмуро прокомментировал их взаимное расположение Зильбер и постарался сделать так, чтобы наш «шмаровоз» пореже встречался с «Лукой». Благо работы хватало всегда, у нас своей, у «Лукианенко» своей.

Все еще злой на старшину, я ел пшенку и перебирал в уме своих начальников, выстраивая некую феодальную лестницу. К концу недели я знал их всех и почти со всеми так или иначе познакомился. Бергман командовал батареей. К ней была придана стрелковая рота Сергеева, когда-то состоявшая сплошь из моряков, но теперь на четыре пятых разбавленная обычной пехотой. С нами взаимодействовали минометный, бронебойный и пулеметный взводы. Всё это называлось опорным пунктом, образуя целый батальон – или дивизион, как говорили в артиллерии. Начальником над ним стоял всё тот же Бергман. Военкомом батареи числился Зализняк, политруком моей роты – временно отсутствовавший Некрасов. Бергман подчинялся командиру полка, подполковнику, и командиру дивизии, полковнику. На нашем первом взводе стоял Старовольский, его помощником был Зильбер. Хозяйством роты ведал Лукьяненко. Он же временно командовал вторым взводом. Других взводов в нашей роте не имелось, и капитан Бергман насмешливо называл нас полуротой – такое подразделение существовало когда-то в царской армии. Самым непосредственным моим начальником был старший краснофлотец Шевченко.

– Михаил, ты давно командиром отделения? – побеспокоил я Мишку, в состоянии глубокой задумчивости жевавшего концентрат, вещь питательную, но не самую вкусную.

– С тех пор как вы здесь появились, – ответил тот. – Правда, у меня старшинского звания нет. Присвоить не успели.

– Почему? Долго оформить, что ли?

– Писаря ранило, бумагу в полк не отослали. Так что теперь моя карьера от тебя зависит. Ну и от Старовольского с Сергеевым, как бы не позабыли. Они ведь люди занятые.

* * *

Хорошие отношения с Лукой не спасли Мухина от новой жестокой обиды. Случилось это на следующий день, когда мы, переждав вечерний минометный обстрел, возвращались в свое расположение с работ по углублению траншей в первой линии обороны. Пока мы там трудились, с немецкого самолета раскидали листовки. Как водится, с предложением не проливать кровь за комиссаров с жидами и добровольно переходить на сторону победоносного рейха. Я слышал о таких бумажках и раньше, но своими глазами видел в первый раз. Невзирая на строгий запрет, их поднимали – прикидывали, не сгодятся ли на самокрутки. Но бумага была слишком грубой. Мухин высказался, что может хоть на подтирку сойдет. Пимокаткин усомнился: «А вдруг они того, отравленные?» – на что Шевченко ответил: «Намазаны ядом».

свирепой ливонской гадюки. Действует, попадая в кровь. Если нет геморроя, будешь жить». – «По мне, так лучше травкой», – состорожничал Пимокаткин.

На обратном пути, когда мы медленно перебирались по ходам сообщения, зашел негромкий разговор о пленных, о перебежчиках и о том, как с ними обращаются немцы. По всему выходило, что обращаются хуже некуда, но добровольные переходы тем не менее случаются, находятся людишки, и не только среди бывших кулаков и вредителей. За иным порой и поглядывать нужно, бывали такие случаи. Тут-то Мухин и пошутил на свою голову.

– Кто у нас здесь самый надежный, – ухмыльнулся он, – так это товарищ Пинский. С его стриженным хреном в плен точно попадать не стоит.

Пинский, обычно тихий и молчаливый, смолчал и на этот раз, только наклонил ниже голову, обиженно пряча глаза. Костаки тоже промолчал, но промолчал по-своему. Без слов, почти не оборачиваясь, врезал Мухину в лицо кулаком. Тот, поперхнувшись, свалился на дно окопа и в ярости прошипел:

– Ты чё, совсем рамсы попутал, пиндос сраный?

Вскочил и кинулся на Константина. Но тут же был сбит на землю новым ударом. На этот раз полученным от Шевченко, что оказалось для Мухина не меньшей неожиданностью. Ладно бы Зильбер, но Зильбера-то рядом не было.

– За что? – просвистел он сквозь зубы.

– За фашистскую пропаганду, – злобным шепотом бросил Мишка. – Понял, урка недоделанная?

Мухину, оскорбленному до последней крайности, только и осталось, что пробурчать – тихо, чтобы слышал только я:

– Фраера позорные... Правда, Леха?

Нашел у кого сочувствия искать.

В этот раз вместе с нами был Сергеев, шел себе впереди, погруженный в свои командирские мысли. Заслышав неподобающий шум, вернулся и резко спросил:

– Шевченко, что там у тебя?

Михаил попытался замять инцидент.

– Все в порядке, товарищ старший лейтенант.

Сергеев не поверил и, ткнув пальцем в Мухина, приказал:

– Ко мне!

Мухин подбежал чуть ли не рысцой и в несвойственной ему манере доложил:

– По вашему приказанию прибыл, товарищ ста...

Не дослушав до конца, Сергеев взял его за грудки и, прижав к стене траншеи, прочел короткое дисциплинарное наставление, завершив его следующими словами:

– И запомни, морда уголовная, здесь фраеров нету. И блатных нету тоже. Здесь все солдаты – и ты среди них пока самый распоследний. Будешь выкобениваться – придушу своими руками. А чтоб не сомневался, получи для профилактики.

И раза два, с виду легонько, встряхнул бытовика, аккуратно приложив того спиной о земляную стенку. На лице у Мухина застыло удивление – откуда старший лейтенант узнал про фраеров? Не мог же услышать на таком расстоянии. А я обратил внимание на кое-что выпавшее из его кармана при вторичном падении. Поднял и в свете взлетевшей в небо красноватой ракеты удостоверился – мой ножик. Тот самый, что пропал месяц назад.

– Слушай, друг, – сказал я Мухину, когда старший лейтенант отошел и мы, отстав от прочих, остались наедине, – где-то я уже встречал этот предмет.

– Нравится – бери, – предложил с готовностью Мухин. И, размазывая по физиономии сопли и грязь, побрел следом за мною, то и дело спотыкаясь в темноте и вполголоса чертыхаясь.

Так, под тихую брань Мухина, пение кузнечиков и редкий треск немецких пулеметов, я в очередной раз убедился – для исправления людей порою нужно совсем немного. Но характер такое исправление, как правило, имеет временный, и забывать об этом не следует никогда.

И еще я подумал – надо бы спросить у младшего лейтенанта, кто такие пиндосы.

Тишина. Человек по имени Земскис Старший лейтенант флота Сергеев

27-28 мая 1942 года, двести десятый и двести одиннадцатый день обороны Севастополя

Ничего еще не началось, а мы за один день потеряли двух людей. Из числа самых нужных, сколь бы несправедливо ни звучали такие слова по отношению к другим. Сначала ранили Семашко. Не сильно – но батарея осталась без санинструктора, знающего, опытного, да еще с подходящей фамилией. А спустя час засыпало Игнатыча – и мы оказались без комиссара. Теперь вся надежда была на скорое возвращение Некрасова. Так я думал. Но оказалось – ошибался.

– Можешь себя и меня поздравить, – сказал мне Бергман, когда я, побывав с отделением Шевченко на одной из ближних наблюдательных точек, завернул перед сном к нему в блиндаж.

– С чем еще? – спросил я с опаской, поскольку радости в голосе комбата не услышал. У меня и самого настроение было не очень – пришлось провести воспитательную работу с одним неприятным товарищем из третьего взвода. А от работы такого рода я удовольствия не испытывал, скорее наоборот.

– Человека нам нового присылают вместо Игнатыча. Большого и важного. Целого батальонного комиссара. Представляешь?

Я слегка присвистнул. Политотдел разбрасывался кадрами. Целый батальонный комиссар, почитай – майор, на четыре полковые пушки и роту пехоты на самом почти на переднем крае – это была серьезная жертва. Правда, Бергман тут же уточнил, что этот батальонный комиссар уже не батальонный комиссар. Поскольку понижен в звании. Хотя и не сильно, всего на одну ступень – до старшего политрука.

– И зовут его Земскис, – добавил он, помня о моей коллекции не вполне обычных имен.

Имя старшего политрука меня тронуло меньше всего. Тем представителям Красной Армии, Красного Флота и государственной безопасности, кого я когда-то внес в свой реестр, Земскис конкуренции составить не мог. Сейчас у меня в роте имелся таинственный Пимокаткин. Я лично знал капитана Хренова. Один начальник особого отдела именовался Ярилов, а помощником его был Дамскер – как хотите, так и трактуйте. После успехов колхозного строительства меня бы не удивила и Гертруда Свиноматкина. «Земскис» на общем фоне звучало вполне пристойно, не хуже Бергмана или Сергеева. Бергман клялся, что до войны был у него в батарее младший сержант Тугодрищенко, которого начштаба дивизиона за глаза называл ходячим парадоксом. Но похоже, комбат заливал.

Я задал вопрос по существу:

– Знаешь про него что-нибудь?

Бергман ответил не сразу.

– Разное говорят. Во-первых, красный латышский стрелок, партработник, имеет правительственные награды. Служил в агитотделе политуправления Южного, а потом Крымского фронта. Это, так сказать, плюс.

Я что-то промычал. Безо всякого энтузиазма. Больно уж высокого полета птица для нашего скромного опорного пункта.

– Но, – Бергман поднял указательный палец и ухмыльнулся в усы, – как бы выразился «по-гусски» мой сосед Наум Самуилович Гопман, на все плюса есть свои минуса. По слухам, этот Земскис редкостный мудака и ухо надо держать с ним остро. Понял? Опять же в звании понижен. За что? Может, под раздачу попал после Керчи. А может, другое.

Я кивнул. Мудаков в Красной Армии и на Красном Флоте хватало всегда. Как в любой другой армии, любом другом флоте и во всяких иных местах.

Бергман, по-прежнему безрадостно, продолжал:

– Вероятно, его просто сплывили в СОР, так сказать, на перевоспитание в боевых условиях. И теперь, вполне возможно, он займется перевоспитанием батареи и роты. Чтобы вернуть свое высокое звание и восстановить порушенную честь. Понял?

Я вновь равнодушно кивнул. Воспитателей я не боялся.

– Так что постарайся произвести на него должное впечатление. Я со своей стороны постараюсь тоже. Чтобы товарищ Земскис начальство понапрасну не беспокоил и от работы не отрывал. Но воли ему давать не следует, а то он всех замучит. Будем учиться дипломатии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.